

B. Tredwell

18



В. Крестников

СОБРАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ВЕЛИМИРА ХЛЕБНИКОВА

ТОМ IV

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ Ю. ТЫНЯНОВА И Н. СТЕПАНОВА

П Р О З А

И ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Редакция текста
Н. Степанова

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ В ЛЕНИНГРАДЕ

№ 76

Отпечатано для Издательства Писателей в Ленинграде гос. тип. им. Евг. Соколовой, в количестве 3200 экземпляр — 10³/₄ л. Заказ № 171. Ленинградский Областлит № 38106. Суперобложка и переплет М. Кирпарского 1930

П Р О З А

ПЕСНЬ МИРЯЗЯ

У омера мирючие берега. Мирины росли здесь и там, белые сквозь гнезда ворона. Низ же зарос грустняком.

Лось проходила сохатая, трясла берега, нежила голову. Свирела свиристель, ликуя веселизненно и лаская птичью душу в игорном деянстве. Смертнобровый тетерев не уставал токовать, взлетая на морину.

Кругом заросло красивняком и мыслокой.

Тихо на небе.

Красивей выказывал всю красоту членов.

Небо синее.

Слезатая слезиня: от нее ушла навсегда веселость.

Сказала: „прощай“ и бросила ветку слез.

Миловель стоял в пущах. Миристые звонко распевались песни. Прилетали неведомо откуда миристеющие птицы и, упав на ветку, начинали миристеть.

И был юноша, с голубой мглой во взорах, в белой одежке, с первоодёванными лапотками, и, подслушав Миристель, срезал грустняк и, вырезав дудочку, называл ее мирель, себя же—первомирельщиком.

Когда на яри зеленой, зеленой лугу, в алом и синем водили игорный круг при зовах молчащей свирели, тогда умолкал.

Гласючими молотами било слово вдали словельщики товарищи.

Иногда на белый камень у лодочной пристани приходила дочь леса и, положив белый лык на колени, бросала на темные воды миратый взор.

Когда же воды приходили в буйство и голубые водяные ноги начинали приходиться в пляску, вдруг брызнув и бросив черными с белыми косицами копытами, тогда звучал хохот и кивали миряными верхушками осоки и слетались мирязи звучать в трубу, и под звон миряных гусель и на неких нижних струнах рокот мерный выходил из голубых вод негей нежить щеки и ноги под взорами хорошеющих краснея хорошеек, подымающих резвые лица над синим озером, среди тусклых облак лебязьего пуха и вселеняющих росинок росянок.

В мыслеземных воздушных телах сущих возникали каменные взоры и взгляды, а, высеченные из некоего изначального мирня, мировые тела трубящих мирязей свивались в двувзглядный взор и медленно опускались на дно морское.

Ах, эти звучащие мысли и рокот сих струн! Кем вы повешены на то место, откуда я взял вас? Вы, высокие струны от звезд к камням и роццам. Качались мысловыми верхушками прекрасные грезогги. Сянь, ветер, и песнь, и ночная тишина, и ночная вышина струн, оттуда сюда, как копыя времен, как стража усталого ропота, как воины с зовом оттуда сюда!

Гордо тяжкий пролетал мирёл, пустотовея орлино согнутым клювом. Кто мирланье нашел перо, кто мирланьих услышал веяние крыл, кто мирланий услышал зов, тот изменился. Травы сжигает воля „сюда!“ и клетот.

Лелеет себя и игры малая жизнь на листьях купавы. Подымая белые пухлые губы и хохоча брюхан водяной тешится, сдувая пыль с водяной зеленой яри, хватаясь за ребра.

О, юноша пастушонок в белом, играющий в мирель, в белых своих лаптях и белых одеждах! Звонная песнь звонатой свирели:

И слезатый Белун, и смехучеустые лешие с звонкосмехотливыми копытами!.. Они натягивают с чеда волос и играют, как на гусях, конским копыт ом резвари и шалуны. Величие — родственник слез. Ветхим временем текут волосы Белуна. Но сияют еще не постарелые глаза.

Грозные, прекрасные, неподвижные губы. Как дальнее озеро, слеза остановилась на косматых величественных кудрях на груди. Не озеро ли в лесу под синим последожидичным небом?..

Так играл пастушонок. Лесини свисали вниз острыми грудями, так что их неопытный взор мог бы принять за осинные гнезда, вникая в смысл песни.

И жители недалежного села несли в зеленючие недра свои взоры, мелькая белючим и синючим одежды, обмениваясь таинственным священным шопотом. После оставляли одежды синеть и белеть... Так пел пастушонок-свирельщик, не отымая свирель, свитую из золотых кругов и лиц.

Стала веще-старикатой даль, прекрасной и чистой дня тишина. Стала взоровитой чаща. И ворковали без умолку, реяли и падали ввысь и вниз умрутные скоро голуби желаний. Кора стволов искрится глазами. Течет смола желаний...

Так пел он. Ужасокрыл смирился улетаю.

Будучи руном мировых писем стояла людиня,
заклиная кого-то опрокинутыми в небо взорами, мо-
лящаяся, мужественная и строгая.

Так пел отрок.

Голубые взоры Белуна подернулись влагой.

И отнял свирель отрок. Упал к стволу дуба.

И свирель поднял липорукий леший и тоже запел.
Я был еще молодой леший, я был Городецким, у
меня вился по хребту буйный волос, когда я услы-
шал голос.

Мы подходили под благословение к каждому пруту,
когда я слышал голос, увидел руку.

Нет, не стоит того, чтобы привести ее всей. Не
стоит!

Усмехнулся седым усом старый Белуни вспомнил
о ком-то отрок.

Рассмеялись весенними устами лесини и усмехну-
лись ему деревини.

Так пел леший.

Идутные идут, могутные могут. Смехутные смеются.

А мирязи слетались и завивались девинноперыми
крылами начать молчать в голубизновую звучаль.

И в страдоче немолей была слышна вся прелесть
звуков. Ах, каждый стержень опахала кончался
ясным лицом.

Молчалъ была оплетена небесочеством, и была их
голубизна сильна, как железо или серебро.

Текло вниз молчание, как немотоструйный волос.

Одеты холодом слезоруслянные щеки. Сомкнуты
сжатые уста. Строгие глаза. Голубьями олеплены
жерди. Верейная связь исходит из страдалых глаз.
Ты взор печали в голубой темнице.

Эти гусельные, нежные, мглой голубой веющие пальцы с камнем синей воды на перстне.

И зори, покрывшие стержнями его тело, главу и смелость.

Зодчеством чертогов называет божество пламя своего сердца. Мглу не развеяли взоры, и уста над деревом вишни, и облако.

Красновитые изливы по сине синючему морю.

Бело-жаровый испод облаков.

Белейшина — облако. Синины. Синочество.

Шла слава с широким мечом.

В глазах горделивый сноп мести поющего — им, смерть крыльями обвила главу ничтожного, где все велики, великого, где все ничтожны, робкого — где все храбры, храброго — где все робки. Миратым может быть зрение лаптя. Певец серебра катится река.

Вон стадо-рого-хребто-мордо-струйная река в берегах дороги. Жуя кус черно-чернючего хлеба, волочит бич белый мальчик.

Зори пересмеялись и одна поцеловала в край сломленного шапкой ушка.

И поцелуй отразился на жующем хлеб лице.

Сумерковитый пес с костреющим злым взором.

Опять донесся рокот незримых гусель.

Но немотная к запрятым устам дующего приложена таинственной руки семитрость.

Там степи, там, колыхая крылья среброковылистые, седоусый правит путь сквозь ковыль старый дудак. Воздушная дуга протянулась по травам.

Стали снопом сожженного, бегут в былое, вечерялые у лебедей под могучим крылом и шеями, часы.

Травяная ступень неба была близка и мила.
И мной оцелованы были все пальцы ступени.
Страдатай пустыни и место!
Не ты ли пролетаешь в серебро-сизых плащах, по-
добный буре и гневу? — Когович? — спросят тебя.
Им ответишь: — Я соя небес!
Проскакал волк с цветами гаснущего пожара
в шерсти. Мглистый кокошник царевен вечера, вы-
ходящих собирать цветы.
Тучи одели утиральником божницу.
Кланяются, расслоняются цветы.

Синатое небо. Синючие воды. Краснючие сосны,
нагие... чьи локтероги тела.
Зеленохвостый переддевичий змей. Морезыбейная
чешуя.
Нагавый кудрявый ребенок, чья ладонь — телокудря
на заре.
Пронизающие материнский дом во взорах девушки,
чье рядно и одеймо небесаты голубевом, тихомирят
ребенка.
И умнядь толпоногая.
И утроликая ночетелая телом днерукая девушка.
И на гудно зова летит умиралый злодей и казнит
сон и милует явь.
Наступили учины: смерть училась быть жизнью,
иметь губы и нос.
И утролик и ясью взорат он.
И яснота синих глаз.
И веселоща емлет свирель из пука игралей.
И славноша думновзорен.
И смех лил ручьем. Смехливел текучий.

И ясноша взорами чаровал всех. И нас и женинок.
Дебрявая чаща мук.

И мучоба во взорах ясавицы.

И, читая резьмо лешего, прочли: сила видеть бога:
без закопченного стекла, ваше сердце железо копыя.
И резак заглядывал тонким звериным лицом через
плечо.

И моя неинь сердитючие делала глаза и шествовала,
воркуя як голубь, вспять. И гроб, одев время-клю-
вый и очки — о, гробастое поле — с усердием читал,
„Способ возделывания и роботы вкусных овощей“.
Резьмодей же побег за берестой содеять новое
тисьмо.

О сами трепетным ухом к матери сырой земле!

Не передоверяйте никому: может быть стар, может
быть глух, может быть враг, может быть раб...

О, вникайте в топот дальних коней!

И сами выхчие звезды согласны были.

И в глазах несли любязи голубые повязки, млад-
ший же брат, согнувшись, ковал широкий меч, чтобы
было на что опереться, требуя выдела. И взял
взываль и взывал к знобе и чтобы сильных быть
силачом. И засвирель была легка и узывна; пья-
нила.

И в мыслоке сил затерялся я-мень.

И давучая клики немда была бесжалостно растоп-
тана конями чужаков... без узды и без наездников.

И ясивый звездный взор.

И, взяв за руку повел в гордешницу: здесь висели
ясные лики предков. О земле родущей моленья, и
небомехий зверь и будущеглавая ясавица, и „го-
лубчик“ мироперый и „спасибо“ величиной ли

с воробышка, величиной ли с голубя, величиной ли с вселенную?

И спасиборогий вол и вселеннохвостая (увы: есть и такая) кошка.

И все лишь ступог к имени, даже ночная вселенная.

И голубой беззвучно скользнул таень.

И сонняга и соняжеская мечта овсеннелым. И сонязев рок — узнать явь.

И соннязь бросает всеннеющую тень над всем, и зель, воздух, брал струнами, подсобниками в туманных делах славянина.

И не устает меня пленять, мая, маень, и я тихая грустная весть мира с сирым, бедучим взором.

И в звучешнице верховенство взяли гусли.

Ах, прошла красивея, пленяя нас: не забыть!

И в прожив от устоя рода до мордостояплыли мары яснева хмары. И небее неба славянская девушка.

И ярозеленючая кружавица, овеваемая и нагучая локтями и палешницей и нагеющая и негеющая полуразверзетыми бесстыдными устами и мертлявая полузакрытыми глазами.

И теневой забочий и котелкоуветная серейная лужайка, и зыбкая и зыбучая на ней плясавица.

И хвостозеленовый и передодевичий под веткой лег змей и вехчий смехом век стариканьши. И трое белых стоем, полукругом на синеве, у зеленева.

О пожаро-косичный, темнохвостый кур!

И мучины страдязя и бой юнзя. Хоробров буй, буй юника.

И юнежь всклекотала, и юникане прозорливыми улыбками засмеялись.

И юнежеустая коекогда правда. И любавица и бегуша в сны двоимя спимые, ты была голубош крыла. И игрец в свирель и дружба мечты. И святоч юнвозорый.

И вселенатые гривой кони и палица у глаз; две разделенные днем ночи.

Смехдомёт из мальчишеской свирели и бессильные запереть смех уста. И смехучий вид старца; нес в мешке вечность.

И давчий красу и люблю — отнял. И заведенные часы.

И деблы слетались, деблиные велись речи.

И ясно было тихо. И яро.

И грясло ясна на небо. И хохотуха с смелым лицом пролетела по ясневу.

Сумрак и мгла — два любна меня.

Красивейно рядится душа в эти рядна.

И в венке дружества пчел пророк.

И дымва зыбетелая делает лики и кажет роги.

И взоролапая снеть.

И улыбальями голубьянноперыми завернулись, смеючись, немницы. И умнота и сумнота голубых очей голубого села радостна.

И шли знатцы. И безумноклювые сорвались личины

И повязанные слепинами и неминами шествовали кроткие бухи.

И небесючая небесва никла голосами долу слухчему.

И плыли небеснатости рокотом.

И Мещей добрядинного пути.

И разверзетые бездны уста. Любноперый птица морок.

„Умун ты наш,“ - баяли зори.

И соколом - тучевом взлетел к ясям неон.

Дядя Боря на ноги надел вечностяные сапожки, на голову-темя пернатую солнцем шляпу. Но и здесь с люлькою не расстался.

И голубьмо неба не таяло и не исчезало.

И дело мовевая и золотучие золотвянные струны; и звучмо его нежных звенеющих нежно рук и смехотва неясных уст, неготливых, милоши смехотливых, улыбчивых.

И улыбчивяный брег, и печальные струи, и веселые березки по брегу по высокому, и дикие печальные стволы.

И грозы и немва из тростников белюси лики кажет. И празднико-языковый конь.

И ваймо и ваяльня слов; там ваймодей и каменская псивь.

И вашу, и улыбково грустные, и волосатый старец, и девопеси в синих чертах. И груда делогов мертворокого мертвобописца и духом повеяло над письмобой и письмежом уже.

И лепьмо, и лепеж, и грустящий грустенъ в грустинах, и грустинник с всегда грустными печальными глазами, и любучий - любучий грустителъ взгляд жарких любоких вежд; но уста — садок немвянок и порхучая в нем немва.

И всенел чей-то юный лик.

И земва и небесва негасючим шопотом перешептывались и многозвудье и инозвучобица звучобособь.

Скакотствует плясавица вокруг весеннего цветка.

Но немотствуют люди.

ИСКУШЕНИЕ ГРЕШНИКА

.. И были многие и многия: и были враны с голосом: „смерть!“ и крыльями ночей, и правдоцветиковый папоротник, и врематая избушка, и лицо старушонки в кичке вечности, и злой пес на цепи дней, с языком мысли, и тропа, по которой бегают сутки и на которой отпечатались следы дня, вечера и утра, и небокорое древо, больное жуками-пилильщиками, и юневое озеро и глазасторогие козлы, и мордастоногие дива, и девоорлы с грустильями вместо крылий и на любви вместо босови, и мальчик, пускающий с соломинки один мир за другим и хочущий беззаботно, и было младенцекаменное ложе, по которому струились злые и буйные воды и пролетала низко над землей сомнениекрылая ласточка и пел влагокликий соловей на колковзором шиповнике, и стояла ограда из времового тесу, и скорбеветвенный страдняк ник над водой, и было озеро, где вместо камня было время, а вместо камышей шумели времышы. И зыбились грустняки над озером. И плавал правдохвостый сом, и давала круги равенствозубая щука, и толчками быстрыми и незаметными пятился назад—справедливость—клевенный рак. И шествовала времяклювая цапля и глотала лягушей с мировой икрой на приятноватых ногах, и был старец, воздельвавший лжаное поле, и молодежеперый кур застыл перед проведенной чертой.

И свирелью подносила к устам девушка морель, и

пролетала зарянка с молитвовыми перьями над озером грустини небо было небато взорами женщин. И зыбились грустняки вершинами, и блудливая пролетала роняющая солнца кукушка, и плыл усатый молчанием голос, и были ночальные глаза под вечеровой ветвью, и блудатые уста у негеющей ноздри и змей с голосом живу, и сквозь топливый тростник плыл прошлоекрылый селезень к будущехохольной утке, оставляя круги и подымая крылья, и серебрястые оставляя борозды, и эти омирелые уста в прежних сумерках, и птичка - богоед, и молчаниелистный лютик и ужасавые, бегающие по всем следам.

И мучеба во взорах немуха.

И видения все учащались и учащались, и после видения и вытаскивания обратно проглоченного кем-то куска бессмертия, с помощью крючка и при вука х общего хохота — после метели ужасных и тр аховидных кумиров был Ястмир людноногий, парящий над всем, и расхаживал некий мирач, никем не мнимый, но оставляющий порой пером ужас о своем существовании.

И ответным клетотом клетал Ястлюд, срывающий клювом человечествянную пену с людяного моря. И повсюду летали пустотелые с безбытийными взорами враны и все сущее было лишь дупла в дебле пустоты. И молчаниехвостый вран туда и сюда летал над опустелыми жуткими нивами. И была кривдистая правда, и качались грусточки над озером грустин, и был умночий пуши зол, и ужас стоял в полях мыслеземных, и пение луков меняубийц... Волк - следотворец завыл, увидел стожаророгого

оленя. И вся вселенная была широко раскрытый
клюв ворона.

Но с ее лица не сходила овселенная улыбка сил,
и время не уставало держать под рукой черный
костыль...

УЧИЛИЦА

- Соловушка вселенноокый, ты песней взял меня
в полон.
- Звукун! Уже близка ночь, и приближается стадо
поцелуешерстных, любверогих овец, так как
слышу рожок пастуха, и он уже властен над
моей душой. И пылью, одеяющей стадо, кажутся
миги ожидания, полные трепета.
- О, не томи мою душу, так как тобою полон това-
рищ моих ночей полночербровый ясавец. —
- Так молилась училица Бестужевских учин Любочка
Надеева, сидя в темной от копоти и пахнущей
травами и зельем-сушимцем хате ховуна.
- Может быть, текла вниз борода сребровитой
куделью,
- Может быть, это было морозное утро над забро-
шенными в степи огнеокими избушками.
- Если это не было сивое зимнее утро, видимое
откуда-нибудь из узкого места, из затянутого
бычачьим пузырем окна, то это могла еще быть
охладевшая, посизелая головня, в которой мель-
кали злобные вишнево-желтые огоньки-очи под
отяжелевшими ховунскими веками.
- Нет руки славицу нести в злые сети, но есть
много рук взять оттуда и посадить в слад-
чайшую клеть. Помни, девица, и не иди
в пламя. Есть у тебя и седая глубоокая
мать — разрыдается она в старости, есть и пре-
старелый отец. —

Так говорил ховун, раскачиваясь и полузакрывая глаза и в таинственном мареве его выражений мелькал молодой и прекрасный смертноша с черными как ночь глазами и щеками малиновитой зари.

— Я хочу! — воскликнула училица, не привыкшая соображать свои желанья с требованиями почтенной нравственности, и ударила ножкой о пол. Заговорила в ней и мощь одних и навык к свободе других, но побежден был в тот памятный раз, голос благоразумия и стояла, вселенная девичьими глазами, и с дивной игрой и нетерпения, и негодования, и презрения на незнающих себе равных устах.

Стояла, пророчественно ведая о ком-то безумно влюбленном в себя, и была молода и прекрасна, так как всего только год была на учинах (будучи уволена за невзнос платы) и не успела стать некрасивой.

Что-то странное произошло с лицом ховуна, какая-то молость пробежала по проясневшим вдруг углам глаз.

Но та же вилась седая кудреватая борода и та же стояла дубрава волос.

Быстро наклонился ховун над углями и стал копаться и только немного дал хлебушка, помазанного медом, промолвил: „Покушай-ста, боярышня“.

Сияла зимой увенчанная волосом глава, блистали странно молодые черносиние глаза, и сквозь рубища мелькало крепкое молодое, покрытое черным блестящим волосом, тело. Носил он на

узком ремешке сухой зеленый веник, и от него шел приятный и сладкий запах и легкий звук. Запускала, украдкой поглядывая на ховуна, жемчужные зубки и таинственно отдавалась новой власти молодая и прекрасная девушка —
училица учин.

И вдруг обернулся и, взяв горящую лучину приблизил к глазам и стал в некотором отдалении и молвил: — Что видишь? —

И охнула Любочка и закрыла лицо руками, только повторяя: „Он, он!“

Но он властно отстранил руки и, строго, как врач, спросил: — Кто он? —

Но не ответствовала та, и ужас и восхищение были в ее безмерно раскрытых глазах.

— Зорекудель? — „Да!“ — Зорекудри, точно утром небо, пышут и дышат над плечами? — „Да!“

— Синёмы взоров? Озерное небо под осенним золотом тростников? — „Да!“

— Золотом шитый крутой воротник? — „Да!“

— Легкий и изящный извив губ, говорящий о порочной и привыкшей к наслаждениям жизни? — „Да!“

— Не порос ли он нежной бородой, молодой и прекрасной? — „Да!“

— Не показываются ли в его бороде некоторые седые волосы? — „Да!“

— Не простирается ли его седая борода по плечи и грудь? — „Да!“

— Не потускнели ли его синие глаза? — „Да!“

— Но не стал ли он от этого еще прекрасней? — „Да!“

Что-то радостное и злое пробежало по двойко-жизненному лицу ховуна.

— Такая прекрасная рассудительная девица не нуждается в помощи лучины, — заметил он и, погасив лучину, повел за собой покорную, счастливую и влюбленную училицу, шепчущую: — „Ты, ты!“

Злое и злое ветром трепетало над ним в воздухе. И как сказать? И как объяснить?

В ее сознании в этот миг мелькали преславные и знаменитые на Руси имена Бехтерева и Лосского и их темные учения о природе человеческой души — так как она много изучала эти науки и любила их. Так уходила, влекомая ховуном, в дверь.

В ту же ночь молодой и прекрасный юноша всю ночь простоял у слюдяного окошечка, сквозь которое светились кованые, блестящие на лунном свете, ларцы и басурманские ковры, вывезенные из черкасской стороны.

Всю ночь он отвечал на испуганные вопросы подкупленной его золотом мамки: — Нет? — „Все еще нет“...

Был он недавно с похода против Пскова и железный меч висел через его плечо.

Под утро он был схвачен проезжавшими опричниками.

И под вечер того же дня сухая стариковская голова, пожевав губами, прошептала: „И боярского сына Володимерко“.

А после, склоняясь, и набожно глазами, — добавила: „И иже ты, боже, веси!“..

Приехавшая в рыдване, к полудню, боярышня с не-
сказанной печалью встретила известие об уча-
сти, постигшей молодого боярина.

Долгие дни после того ее можно было встретить
в храме, бледной и печальной, отслуживавшей
поминальные службы по усопшем боярском сыне,

Не уступала и инокиням в черноте одежды и блед-
ности лика,

И всегда в руке горела свеча — тонкая и ясная.

Кончила свой век в заволжских лесах.

Так тщетно силились разорвать цепи времен два
любящих сердца.

ЗВЕРИНЕЦ

П о с в. В. И.

О Сад, Сад!

Где железо подобно отцу, напоминающему братьям,
что они братья, и останавливающему кровопролит-
ную схватку.

Где немцы ходят пить пиво.

А красотки продавать тело.

Где орлы сидят подобны вечности, оконченной сего-
дняшним еще лишенным вечера днем.

Где верблюд знает разгадку Буддизма и затаил
ужимку Китая.

Где олень лишь испуг, цветущий широким камнем.

Где наряды людей баскующие.

А немцы цветут здоровьем.

Где черный взор лебедя, который весь подобен
зиме, а клюв — осенней рощице, немного осторожен
для него самого.

Где синий красивейшина роняет долу хвост, по-
добный видимой с Павдинского камня Сибири,
когда по золоту пала, и зелени леса брошена, сияя
сеть от облаков и все это разнообразно оттенено
от неровностей почвы.

Где обезьяны разнообразно сердятся и выказывают
концы туловища.

Где слоны кривляясь, как кривляются во время
землетрясения горы, просят у ребенка поесть, влагая
древний смысл в правду:— есть, хоуа! поесть-бы!—
и приседают, точно просят милостыню.

Где медведи проворно влезают вверх и смотрят вниз, ожидая приказа сторожа.

Где нетопыри висят подобно сердцу современного русского.

Где грудь сокола напоминает перистые тучи перед грозой.

Где низкая птица влачит за собой закат, со всеми углями его пожара.

Где в лице тигра, обрамленном белой бородой и с глазами пожилого мусульманина, мы чтим первого магометанина и читаем сущность Ислама.

Где мы начинаем думать, что веры — затихающие струи волн, разбег которых — виды.

И что на свете потому так много зверей, что они умеют по-разному видеть бога.

Где звери, устав рыкать, встают и смотрят на небо.

Где живо напоминает мучения грешников тюлень, с неустанным воплем носящийся по клетке.

Где смешные рыбокрылы заботятся друг о друге с трогательностью старосветских помещиков Гоголя.

Сад, Сад, где взгляд зверя больше значит чем груды прочтенных книг.

Сад.

Где орел жалуется на что-то, как усталый жаловаться ребенок.

Где лайка растрчивает сибирский пыл, исполняя старинный обряд родовой вражды при виде моющей кошки.

Где козлы умоляют, продевая сквозь решётку раздвоенное копыто, и машут им, придавая глазам самодовольное или веселое выражение, получив требуемое.

Где полдневный пушечный выстрел заставляет орлов смотреть на небо, ожидая грозы.

Где орлы падают с высоких насестов, как кумиры во время землетрясения с храмов и крыш зданий.

Где косматый, как девушка, орел смотрит на небо потом на лапу.

Где видим дерево-зверя в лице неподвижно стоящего оленя.

Где орел сидит, повернувшись к людям шеей, и смотрит в стену, держа крылья странно распушенными. Не кажется ли ему, что он парит высоко над горами? Или он молится?

Где лось целует через изгородь плоскорогого буйвола.

Где черный тюлень скачет по полу, опираясь на длинные лапы, с движениями человека завязанного в мешок, и подобный чугунному памятнику, вдруг нашедшему в себе приступы неудержимого веселья.

Где косматовласый „Иванов“ вскакивает и бьет лапой в железо, когда сторож называет его „товарищ“.

Где олени стучат через решётку рогами.

Где утки одной породы поднимают единодушный крик после короткого дождя, точно служа благодарственный молебен утиному — имеет ли оно ноги и клюв — божеству.

Где пепельно-серебряные цесарки имеют вид казанских сирот.

Где в малайском медведе я отказываюсь узнать северянина и открываю спрятавшегося монгола.

Где волки выражают готовность и преданность.

Где, войдя в душную обитель попугаев, я осыпаем единодушным приветствием „дюрьяк!“

Где толстый блестящий морж машет как усталая красавица, скользкой черной веерообразной ногой и после прыгает в воду, а когда он вскатывается снова на помост, на его жирном грузном теле показывается с колючей щетиной и гладким лбом голова Ницше.

Где челюсть у белой черноглазой возвышенной ламы и у плоскорогого буйвола движется ровно направо и налево, как жизнь страны с народным представительством и ответственным перед ним правительством — желанный рай столь многих!

Где носорог носит в белокрасных глазах неугасимую ярость низверженного царя и один из всех зверей не скрывает своего презрения к людям, как к восстанию рабов. И в нем затаен Иоанн Грозный. Где чайки с длинным клювом и холодным голубым, точно окруженным очками глазом, имеют вид международных дельцов, чему мы находим подтверждение в искусстве, с которым они похищают брошенную тюленям еду.

Где, вспоминая, что русские величали своих искусных полководцев именем сокола, и вспоминая, что глаз казака и этой птицы один и тот же, мы начинаем знать, кто были учителя русских в военном деле.

Где слоны забыли свои трубные крики и издают крик, точно жалуются на расстройство. Может быть, видя нас слишком ничтожными, они начинают находить признаком хорошего вкуса издавать ничтожные звуки? Не знаю.

Где в зверях погибают какие-то прекрасные возможности, как вписанное в Часослов слово Полку Игореву.

И всенея ховун вылетел в трубу и, повселенно-вав, опять влетел в избенку. И мы лишь всеньма всенеющей воли, волерукого дикана. И белязи были скорбновласы и смехоноги. И небнядинное голубьмо за ними сияло, сиючее, неуставающее.

И волязь стать красочим учился у леших блесне взглядовой, лесной, дикой, нечеловеческой. И смехорукое длилось молчание.

И веселовница нудных роц радостноперыми взмахнула грустильями. И скорбун по вотчинам Всенязя качался в петле. И грезог-немог полон был тихих ликов. И соноги-мечтоги вставали в мгловых просторах. И то, о чем я пишу, лишь грезьмо грезюги.

Но сонногрезийцы прекрасны и в небесовой мгле. Небесатый своей думой я утихомирился и лег спокойно спать.

И был скорбен незаметный лик. И убегает умиравый в сон.

И вселенаты были косицы за устами, и волк днешерстный пришел и не миннул: не стало бдночей чтыня луковешская.

И сонез и соннежь и всатый замыслом и всокий господин читака чтой читок чтоище перечетчик почетчик читомое и ничтожина и всеянин и всень и веснь и всявый ус и ничтовая брѳвь и всяный голос и всовник и ничтожево и ничтов и ничтое ничтим ничтей и ничтак ничтва вселенель ничтыня

и лукавда красавда ничтец ничтимка всего ничтота
ничтовенство всеলেখча меня и была смерть читқа
чтяка весьтем везда вседа ничтимень.

И соног-мечтог был нами читьбище читьба, читва
читать, л читеж читажа, читязь читьмо читавица.

И малочей звенел смехом и мальни лежали на бреге,
и малыши звенели вершинами, и малок вселенел.
Так, звукатая временель ясными струилась завит-
ками с дедиканова плеча.

И девиня страдалая взорами взметнула озаренными
крыльями. Красотей же засмеялся.

И были глубинны синие взоры и сиял змей.

И, взрываая руками мыслоку, радостная вышла на
берег дева, сияя устами и телом. И нагочей смеялись.
В смехотянком, в смехотовом венке лике, были два
озера грустин и смехотучие заревые уста.

Негей кинул венки, но кто его поднял?..

И Вселеномир зыбил, звучал студными ветками.

слово ваи! припадите к земле, как земичи!

В молчановом ручье омойте пыльные ноги.

И яроба народоструйных вод и весеннеликий юнеж
и вселенноклик и лиромиг и безумвяные дебри
недучих рост.

И в белом месяцевом лике холодные враждунные
глаза: оголяя локти и небомойки из хмаровых
корыт опрокидывали, лили воду. На хмаровых
лети-полетай копытцах резвилось смешун-дитя.

И смехчие выползали дети из вечностью спаленки
и в вечность закутанный был муж и пожарокудрые
личики.

И дыхчие полымем змеи и косматые миристые
гласом дива и постепенно миренело утихающее

тихвой величия слово: „я!“ и тонуло в немичии. И краснево в золотучем, не ясном поле и красночий мыслями и кудрями. И пыхчие снопами радляваю и радостного золота голубочешуйные утра. И вольнва и волнва волнистой и вольной нивы воль. И жнец нивы. И летуницы сладко и ладкогласные. И вопрос им людища тьма-темь-власаго: „кто вы?“ и ответ: „сладкоперые“.

И желание — шерстный пес, лютой, злой. И звена звенят серебряной необходимостью. Неоградимое воль.

И бояйца голубева, как зла сил. И земее зема его лик.

И бедища злостоперья. И молчаные дворцы и за „а“-рцы.

И вечниканша верременная собой времовым ростом. И баймо баянной звучали и звучаль немотострунная, о! замолкнет она, когда струны порвутся руками чужими.

И надело землявый плащ небо, и старичие голубоседых стариковских волос и ясавец мысли ясной срезает думель, и летят нечистели мыслоковых осок и поют-поют: „умиравежь, милый, умри!“

О, счастье клювая, и ты, черноглазая, легкая-легкая по кустам и деревьям порхалица птичка, приди, приди! О, желтучие уста немвянок молчановых серотелых сирот.

Молчань и лебеди грустливо-грустные, не никлые ли цветы, шея и слухока и молвняк по диким брегам глаголокаменным.

И моля лебеда смерти: „приди, белошейная“.

И язык — звукомые числа без... старичие.

ПРОСТАЯ ПОВЕСТЬ

Небозобый гулит, воркует голубь.

У дальних качелей, как вечер, морщинится, струится платье.

Даокий проходит по полю у тополя юноша.

Ноги, как дни и ночь суток, меняют свое положение.

Вечер вспыхнул; без ночи возникли утра поднятых рук. Ее ресницы — как время зимы, из которой вынуты все дни и остались одни длинные ночи — черные.

Остались шелковые дремлющие ночи.

Ожиданиевласа одетая в вечернее девушка.

И желаниегривые комони бродят по полю, срывают одинокие цветы.

Неделей туго завитая коса девушки — дни недели.

Рука согнута, как жизнь свадьбой, в руке — цветок.

Никнет, грузнет струистый вечер. Не надо ничего, кроме цветка — сон-травы. Крыльями птиц разметались части платья даокого юноши.

Он рассветогруден. Его кафтан, как время, его пуговицы, как ясные дни осени, — осень.

В руке ник платок — забвение.

Зачем, как воины, обступили — прикрыли рассвет умирающий — вороны?

Впрочем, горнишня принесла настойчиво зовущей госпоже морель.

ЮНОША Я-МИР

Юноша Я-Мир.

Я клетка волоса или ума большого человека, которого имя Россия?

Разве я не горд этим?

Он дышит, этот человек, и смотрит, он шевелит своими костями, когда толпы мне подобных кричат „долой“ или „ура“. Старый Рим, как муж, наклонился над смутной темной женственностью Севера и кинул свои семена в молодое женственное тело.

Разве я виноват, что во мне костяк римлянина?

Побеждать, завоевать, владеть и подчиняться — вот завет моей старой крови.

ВЫХОД ИЗ КУРГАНА УМЕРШЕГО СЫНА

У спутницы череп на плечах. Она в белой соломенной шляпке с голубой тесьмой.

Ломающий траву черный самокат. Вот он. Кивнув головой, смеясь, они садятся. Сквозь окна сильно освещенного дома видно, как они входят, ничем не смущая живых, в стеклянную дверь, любезно встреченные, обмениваясь приветствиями. Высоко стоит белый воротник с остро отогнутым концом. Он, с таинственными знаками, отводит в сторону одного из туземцев и, завернув свой череп в „Новое Время“ или „Речь“, прижав его локтем, присоединяется к обществу, вступая в беседу. У ней в руках веер. Два гостя неосторожно рано вышедших, вталкиваются в черный самокат и, испуская крики жалобы, увозятся прочь. Огни здания становятся ярче. 6 часов. На небе бледны звезды. С крыльца того же дома шестью столбами спускаются нареченные с белыми голубыми цветами, с скромными прекрасными лицами. Впрочем, они одеты так же, как беглецы из кургана. При спуске с крыльца продавщицы протягивают им цветы. Среди них мелькает чрезмерно костлявое лицо, дотронувшееся костяным пальцем до провала щеки.

ОХОТНИК УСА-ГАЛИ

Уса-гали воспитывал соколов, охотился, а при случае занимался разбоем. Если его уличали, он добродушно спрашивал: „а разве нельзя? — думал, можно!“ Увидев спящего жаворонка в степи, Уса-гали ползет к нему и прижимает его за хвост к земле; птица просыпается в плену. Орел сидит на стогу. Гали подкрадывается к стогу с длинной петлей. Орел зорко смотрит на волосяной обруч. Полный подозрений он подымается на ноги, готовый улететь, но уж висит, ударяя черными крыльями, хлопая ими и крича. Уса-гали выбегает из-под стога и за веревку тянет бедного князя воздуха, черного пленника с железными когтями; его крылья в размахе достигают сажени. Гордый, он едет по степи. Орел долго будет жить в плену, разделяя пищу с овчарками. Раз, во время погони, целая вереница всадников окружила его. Гали напрасно рыскал на своем коне в середине облавы. Что же он делает? Он повернул коня и поскакал к одному из всадников. Тот нерешительно ставит коня боком. Гали свистнул плетью, и добрый конь, оглушенный страшным ударом в лоб, упал на колени. Уса-гали ускакал. Это был лихой удар, вызвавший конский обморок. В степи долго помнили лопнувшую подпругу на оглушенном коне и примятого всадника. В то время чумаки ездили обозами, покрывая возы от непогоды цельным войлоком. Волы идут, двигая вечно мокрые черные губы, отмахиваясь от мух. Были охотники

подкрасться к чумакам, на скаку сунуть под колено конец войлока и умчаться с ним в степь. Тогда остроумные чумаки привязали войлок к обозу очень длинной веревкой. Уса-гали так и сделал.

Но, едва веревка кончилась, он сильнейшим толчком был сброшен на землю, сломав руку. Чумаки подбежали и на славу выместили свои обиды. „Будет?“ — спрашивали они его. „Будет, батька, будет!“ — отвечал он тихо. Это удовольствие стоило ему нескольких ребер.

Плетью, которая есть близкий родич северного кистеня, он умел владеть превосходно, то-есть по-киргизски, пользуясь ею на волчьих охотах. Настоячивее борзой ручные орлы, преследуя в степи волка, доводят его до состояния бешенства и равнодушия ко всему.

Послушный иноходец прибавляет ходу, и Гали, наклонившись с седла, своим кистенем приканчивал изнемогающего в неравном споре зверя. Бедные бирюки!

Раз его застали важно гнавшим хворостиной целое стадо дроф.

— Уса-гали, что ты делаешь? — „Крылья подмерзли, мало-мало продаю их“, — равнодушно отвечал он.

Это было во время гололедицы.

Таков Уса-гали. Белый конь пасется у стоянки. Стая витютней наносится ветром. Лебеди блеснули в голубой синеве неба как край другого мира. Белые стрепеты пасутся на песчаном бугру. Витютни, сидевшие в траве, вдруг срываются и уносятся. Рассказы, журчит беседа. Начинается вечерянка.

Между тем гуси, своим узором разделившие небо пополам, вытягиваются в тонкую полосу. Стая, похожая на воздушного змея, где-то далеко теряется бесконечной нитью, может быть облегчая полет. Гуси перекликаются и снова перестраиваются, как темный млечный путь. Между тем прибавился ветер, и сильнее закачалось гнездо ремеза, похожее на теплую рукавицу, подвешенную к иве. Лунь, весь черный, с красивым серебряным теменем, проносится мимо.

Вороны и сороки радуют как хорошая примета.
— Слышите? — рассказывают про пленную турчанку:—она выходила в поле, ложилась, прикладывала голову к земле и, когда ее спрашивали, что она делает, она отвечала: „Я слушаю, как на небе служат обедню. Хорошо как!“ Русские стояли кругом. Здесь же Уса-гали, в стороне, что-то скромно ест. Он был хороший степной зверь. Урус построил пароходы, урус провел дорогу и не замечает другой степной жизни. Неверный урус, гяур-урус.
Если вы прислушивались к голосам диких гусей, не слышали ли вы: „Здравствуй! долженствующие умереть, приветствуют тебя!“

Странное свойство случая, оно проводит вас равнодушным мимо того, чему присвоено имя страшного, и, наоборот, вы ищете глубины и тайны за ничтожным случаем. Я шел по улице и остановился, видя собирающуюся толпу около грузовых подвод.— Что здесь такое? —спросил я случайного прохожего.— „Да вот“, — ответил тот смеясь. В самом деле, в гробовой тишине старый вороной конь мерно ударял копытом о мостовую. Другие кони прислушивались, глубоко поникнув головами, молчаливые, неподвижные. В стуке копытом слышалась мысль, прочитанный рок и приказание, и остальные кони, понурясь, внимали. Толпа быстро собиралась, пока грузчик не вышел откуда-то, не дернул коня за повод и не поехал дальше.

Но старый вороной конь, глухо читающий судьбу, и старые понуренные товарищи остались в памяти.

Невзгоды странствовательной жизни окупаются волшебными случаями. К таким я отношу встречу с Николаем. Если бы вы встретили его, вы бы вероятно не обратили внимания. Только немного смуглый лоб и подбородок выдали бы его. И слишком честно ничего не выражающие глаза могли бы вам сказать, что перед вами равнодушный и скучающий среди людей охотник.

Но это была одинокая воля, имевшая свой путь и свой конец жизни,

Он не был с людьми. Он походил на усадьбы, забором отгороженные от дороги, забором повернутые к проселку.

Он казался молчаливым и простым, осторожным и необщительным.

Его нрав казался даже бедным. В хмелю он становился груб и дерзок с своими знакомыми, назойливо требовал денег, но — странно — испытывал прилив нежности к детям: не потому ли, что это были пока еще не люди? Эту черту я знавал и у других. Он собирал вокруг себя детвору и на всю мелочь, которой владел, покупал им убогие сласти, баранки, пряники, которыми украшены лари торговков. Хотел ли он сказать: „смотрите, люди, так поступайте с другими, как я с ними“, но, так как эта нежность не была его ремеслом, на меня его молчаливая проповедь оказывала большее действие, чем проповедь иного учителя с громкой и всемирной славой. Какую-то простую и суровую мысль выражали тогда его прямые глаза.

А впрочем, кто прочтет душу нелюдимого серого охотника, сурового гонителя вепрей и диких гусей? Мне вспоминается по этому поводу суровый приговор над всей жизнью одного умершего татарина, который оставил предсмертную записку с краткой, но привлекающей внимание надписью: „плюю на весь мир“.

Татарам он казался отступником от веры, изменником, а русским властям — опасной горячей головой. Признаюсь, я не раз хотел дать подпись под эту записку, указанную равнодушием и отчаянием. Но эта молчаливая выставка свободы от железных за-

конов жизни и ее суровой правды, этот орешник, собирающий у своего подножия полевые цветы, все-таки глубокая черта; в них скрывалась простая и суровая мысль, хранимая его, несмотря ни на что, честными глазами.

В одном старом альбоме, которому много лет, среди выцветших сгорбленных старцев, с звездой на груди, среди жеманных пожилых женщин, с золотой цепью на руке, всегда читающих раскрытую книгу, вы могли бы встретить и скромное желтое изображение человека с чертами лица мало замечательными, прямой бородой и двустволкой на коленях; простой пробор разделял волосы.

Если вы спросите, кто эта поблекшая светопись, вам кратко ответят, что это Николай. Но от подробных объяснений наверное уклонятся. Легкое облачко на лице говорившего вам укажет, что к нему относились не как к совершенно постороннему человеку.

Я знал этого охотника. К людям вообще можно относиться как к разным освещением одной и той же белой головы с белыми кудрями. Тогда бесконечное разнообразие представит вам созерцание лба и глаз в разных освещенностях, борьба теней и света на одной и той же каменной голове, повторенной и старцами и детьми, дельцами и мечтателями, бесконечное число раз.

И он, конечно, был лишь одним из освещений этого белого камня с глазами и кудрями. Но может ли кто-нибудь не быть им?

Про его охотничьи подвиги многое рассказывали. Когда его просили принести зверя, он, отличавшийся

молчаливостью, спрашивал: „сколько?“ — и исчез. Бог ведает какими судьбами, но он появлялся и приносил, что ему заказывали. Кабаны знали его как молчаливого и страшного врага.

Черни, — это место, где из мелкого моря растет камыш, — были им изучены превосходно. Кто знает, — если бы можно было проникнуть в душу пернатого мира, населяющего устье Волги, — каким образом был запечатлен в нем этот страшный охотник! Когда они оглашали стопами пустынный берег, не слышалось ли в их рыданиях, что челн Птичьей Смерти снова пристал к берегу. Не грозным ли существом с потусторонней властью казался он им, с двустволкой за плечами и в сером картузе?

Немилостивое грозное божество появлялось и на уединенных песках: белая или черная стая долгими криками оглашала смерть своих товарищей. Впрочем, в этой душе был уголок жалости: он всегда щадил гнезда и молодых, которые знали лишь его удаляющийся шаг.

Он был скрыт и молчалив, чаще неразговорчивый; и только те, которым он показывал краешек своей души, могли догадаться, что он осуждал жизнь и знал „презрение дикаря“ к человеческой судьбе в ее целом. Впрочем, это состояние души можно лучше всего понять, если сказать, что так должна была осуждать новизну душа „природы“, если б она через жизнь этого охотника должна была перейти из мира „погибающих“ в мир идущих на смену, прощальным оком окинув метели уток, безлюдье, мир пролитой по морю крови красных гусей, перейти в страну белых каменных свай, вбитых в русло,

тонких кружев железных мостов, городов-муравейников, сильный, но нелюбезный сумрачный мир!

Он был прост, прям, даже грубовато суров. Он был хорошей сиделкой, ухаживая за больными товарищами; а в нежности к слабым и готовности быть их щитом ему мог бы завидовать средневековый латник в шлеме с пером.

На охоту он отправлялся так: он садился в бударку, где его ждали две вынянченные им собаки, и спускался вниз, прикрепив парус к мушке, то бечевой, то веслами. Надо сказать, что на Волге есть коварный ветер, который налетает с берега среди полной тишины и перевертывает неосторожного рыбака, не сумевшего распутать парус.

На месте лодка поворачивалась вверх дном, служа кровлей, втыкались железные прутья, и у костра начинались охотничьи сутки до ухода на вечерянку. Умные молчаливые собаки были вскормлены на лодке, в которую впитались запахи всей водящейся на Волге дичи; черные бакланы и матерая нога кабана лежали здесь вместе с стрепетами и дрофами.

Тихо завывают волки: „это они собираются“, „это они уходят“.

Его желанием было умереть вдали от людей, в чем он сильно разочаровался. Он бродил среди людей, отрицая их. Жестокий по ремеслу, он сжился с гонимыми не-людьми, к которым являлся как жестокий князь, несущий смерть; но в поединке люда и не-люда становился на их сторону. Так Мельников, преследовавший раскольников, все же написал „В горах и лесах“.

Да его иначе нельзя представить, как Птичьего Перуна, жестокого, но верного своим подданным и уловившего в них какую-то красоту.

У него были люди, которых он мог назвать друзьями; но чем более его душа оставляла свою „раковину“, тем сильнее равенство двух властно нарушал он в свою пользу; он становился высокомерен, и дружба походила на временное перемирие между двумя враждующими. Разрыв происходил из-за малейшего случая, тогда он бросал взор, говоривший: „нет, ты не наш“, и делался сух и чужд.

Не многим было ясно, что этот человек, собственно, не принадлежит к люду. С задумчивыми глазами, с молчаливым ртом, он уже два или три десятка лет был главным жрецом в храме Убийства и Смерти. Между городом и пустыней те же оси, та же разница, какая между чортом и бесом. Ум начинается с тех пор, когда умеют делать выборы между плохим и хорошим. Охотник сделал этот выбор в пользу беса, великого безлюдья. Он твердо заявил желание не быть похороненным на кладбище; отчего он не хотел тихого креста?.. был ли он упорный язычник? и что ему рассказала книга, которую прочел только он и никто уж не прочтет ее пепла?

Но смерть не шла наперекор его желаниям.

Рав местный листок напечатал заметку, что в урочище, известном местным жителям под именем „Конская застава“, найдены лодка и тело неизвестного человека. Было добавлено, что рядом валялась двустволка. Так как это был год Черной Смерти и суслики, милovidные животные степи, падая во множестве, заставляли сниматься с кочевий кочевников

и в отрахе бежать, и так как охотник уже неделю пропадал сверх срока, то люди, знавшие его, послали на разведки, охваченные тревожным ожиданием и недобрый предчувствием. Разведчики, возвратясь, подтвердили, что охотник умер. Со слов рыбаков они рассказали следующее.

Уже несколько ночей на ватагу, основанную на пустынном острове, по ночам приходила неизвестная черная собака и, останавливаясь перед избою, глухо выла. Ни побои, ни крики на нее не действовали. Ее отгоняли, предчувствуя, что значит посещение на необитаемом острове черной неизвестной собаки. Но она неизменно приходила в следующую ночь, жуткая, воющая, отравляя сон рыбакам.

Наконец сердобольный стражник вышел к ней навстречу: она радостно визгнула и повела его к опрокинутой лодке: вблизи, с ружьем в руке, лежал совершенно исклеванный птицами человек, с мясом, сохранившимся только в сапогах. Облако птиц кружилось над ним. Вторая собака полумертвая лежала у его ног.

Умер он от лихорадки или от чумы — неизвестно. Волны мерно ударяли в берега.

Так он умер, исполнив свою странную мечту — найти конец вдали от людей.

Но друзья над его могилой все-таки поставили скромный крест. Так умер волкобой.

1

У меня был Ка; в дни Белого Китая Ева, с воздушного шара Андрэ, сойдя в снега и слыша голос: „иди!“, оставив в эскимосских снегах следы босых ног, — надейтесь! — удивилась бы, услышав это слово. Но народ Маср знал его тысячи лет назад. И он не был неправ, когда делил душу на Ка, Ху и Ба. Ху и Ба = слава, добрая или худая, о человеке. А Ка, это тень души, ее двойник, посланник при тех людях, что снятся храпящему господину. Ему нет застав во времени; Ка ходит из снов в сны, пересекает время и достигает бронзы (бронзы времен).

В столетиях располагается удобно, как в качалке. Не так ли и сознание соединяет времена вместе, как кресло и стулья гостиной.

Ка был боек, миловиден, смугол, нежен; большие чахоточные глаза византийского бога и бррви, точно сделанные из одних узких точек, были у него на лице египтянина. Решительно, мы или дикари рядом с Маср, или же он приставил к душе вещи нужные и удобные, но посторонние.

Теперь — кто я.

Я живу в городе, где пишут „бѣсплатныя купальни“, где хитрые дикари смотрят осторожными глазами, где лазают по деревьям с помощью кролиководства. Там черноглазая, с серебряным огнем, дикарка проходит в умершей цапле, за которой уже охо-

тится на том свете хитрый мертвый дикарь с копьем в мертвой руке; на улицах пасутся стада тонкорунных людей, и нигде так не мечтается о Хреновском заводе кровного человеководства, как здесь. „Иначе человечество погибнет“, — думается каждому. И я писал книгу о человеководстве, а кругом бродили стада тонкорунных людей. Я имею свой небольшой зверинец друзей, мне дорогих своей породистостью; я живу на третьей или четвертой земле, начиная от солнца и к ней хотел бы относиться как к перчаткам, которые всегда можно бросить стадам кроликов. Что еще сказать о мне? Я предвижу ужасные войны из-за того — через ять или е писать мое имя. У меня нет ногочелюстей, головогруды, усиков. Мой рост: я больше муравья, меньше слона. У меня два глаза. Но не довольно ли о мне?

Ка был мой друг; я полюбил его за птичий нрав, беззаботность, остроумие. Он был удобен как непромокаемый плащ. Он учил, что есть слова, которыми можно видеть, слова — глаза и слова — руки, которыми можно делать. Вот некоторые его дела.

2

Раз мы познакомились с народом, застегивающим себя на пуговицы. Действительно, внутренности открывались через полость кожи, и здесь кожа застегивалась на роговидные шарики, напоминавшие пуговицы. Во время обеда через эту полость топилась мыслящая печь. Это было так. Стоя на большом железном мосту я бросил в реку двухкопеечную денгю, сказав: нужно заботиться о науке будущего.

Кто тот ученый рекокоп, кто найдет жертву реке?
И Ка представил меня ученому 2222 года.

А! через год после первого, но младенческого крика сверхгосударства АСЦУ. „Асцу!“ произнес ученый, взглянув на год медяка. Тогда еще верили в пространство и мало думали о времени. Он дал мне поручение составить описание человека. Я заполнил все вопросы и подал ведомостичку. „Число глаз—два,—читал он:—число рук—две; число ног—две; число пальцев—20“. Он положил худой светящийся череп на теневой палец. Мы обсуждали выгоды и невыгоды этого числа.—Изменяются ли когда-нибудь эти числа?—спросил он, окидывая меня пронизательным взглядом умных больших глаз.

— Это предельные числа, — ответил я. — Дело в том, что иногда встречаются люди с одной рукой или ногой. Число таких людей заметно увеличивается через 317 лет.

— Но этого довольно, — ответил он, — чтобы составить уравнение смерти. Язык, — заметил ученый 2222 года, — вечный источник знания. Как относятся друг к другу тяготение и время? Нет сомнения, что время так же относится к весу, как бремя к бесу. Но можно ли бесноваться под тяжелой ношей? Нет. „Бремя“ поглощает силы беса. И там, где оно, его нет. Другими словами, время поглощает силы веса, и не исчезает ли вес там, где время? По духу вашего языка, время и вес два разных поглощения одной и той же силы.—Он задумался. „Да, в языке заложены многие истины“. На этом наше знакомство прервалось.

В другой раз Ка дернул меня за рукав и сказал: пойдём к Аменофису. Я заметил Аи, Шурура и Нефертити. У Шурура была черная борода кольцами.

— Здравствуйте, — кивнул Аменофис головой и продолжал:

— Атэн! Сын твой, Нефер-Хепру-Ра, так говорит: „Есть порхающие боги, есть плавающие, есть ползающие. Сух, Мневис, Бенну“. Скажите, есть ли на Хапи мышь, которая не требовала себе молитв?

Они ссорятся между собой, и бедняку некому возносить молитвы. И он счастлив, когда кто-нибудь говорит: „это я“ и требует себе жирных овнов. Девять луков! разве не вы дрожали от боевого крика моих предков?

И если я здесь, а Шеш держит гибкой рукой тень, то не от меня ли там спасает меня здесь ее рука? Девять луков! разве не мое Ка сейчас среди облаков и озаряет голубой Хапи столбами огня? Я здесь велю молиться мне там! И вы, чужеземцы, несите в ваши времена мою речь.

Ка познакомил его с ученым 2222 года.

Аменофис имел слабое сложение, широкие скулы и большие глаза с изящным и детским изгибом.

В другой раз я был у Акбара и у Асоки. На обратном пути мы очень устали.

Мы избегали поездов и слышали шум Сикорского. Мы прятались от того и другого, и научились спать на ходу. Ноги сами шли куда-то, независимо от ведомства сна. Голова спала. Я встретил

одного художника и спросил, пойдет ли он на войну? Он ответил: „Я тоже веду войну, только не за пространство, а за время. Я сижу в окопе и отымаю у прошлого клочок времени. Мой долг одинаково тяжел, что и у войск за пространство“. Он всегда писал людей с одним глазом. Я смотрел в его вишневые глаза и бледные скулы. Ка шел рядом. Лился дождь. Художник ¹ писал пир трупов, пир мести. Мертвецы величаво и важно ели овощи, озаренные подобным лучу месяца бешенством скорби. В другой раз, по совету Ка, я выбрил наголо свою голову, измазал себя красным соком клюквы, в рот взял пузырек с красными чернилами, чтобы при случае брызгать ими; кроме того, я обвязался поясом, залез в могучие мусульманские рубашки и надел чалму, приняв вид только-что умершего. Между тем Ка делал шум битвы: в зеркало бросал камень, грохотал подносом, дико ржал и кричал на а-а-а. И что же? очень скоро к нам прилетели две прекрасных удивленных гур с чудными черными глазами и удивленными бровями; я был принят за умершего, взят на руки, унесен куда-то далеко. Принимая правоверных, они касались чела концами уст и так же лечили раны. Вероятно, они знали вкус крови, но из вежливости не замечали. Смешно испачкавшись в чернилах своими очаровательными ротиками, 3 гур скоро стерли искусственную рану и достигли исцеления мнимого больного. Иногда гур плясали, и черные волосы гнались за ними, как играющие вороны, или как сиракузские суда за

¹ Филонов.

Алкивиадом, как птицы, одна за другой. Это была пляска радости.

Казалось, целый венок головок мчался в одном ручье. Позднее радость их немного улеглась, но они по-прежнему смотрели на меня восхищенными глазами, перешептываясь и сверкая ночными глазами. Пришел Магомет и смотрел веселыми насмешливыми глазами. Он сказал, что теперь многое не настоящее. — Ничего, ничего, молодой человек, продолжайте в том же духе!

Утром я проснулся немного усталый; гур смотрели немного удивленно, точно заметили что-то странное. Губы их были чисто-начисто вымыты. Красные чернила тоже сошли с их рук. Казалось, они не решались что-то сказать. Но в это время я заметил надпись; на ней моими же красными чернилами было написано: „вход посторонним строго возбраняется“. Далее следовала замысловатая подпись. Я исчез, но запомнил запачканные красными чернилами волосы и руки Гауры и еще многое, и в тот же вечер вместе с воинами Виджаи плыл на Сахали, в 543 году до Р. Хр. Гур мне чудились попрежнему, но в одеждах из крыл стрекоз или в шубах из незабудок, тяжелых и суровых, составленных почвой и растениями, кудрявые голубые лани.

Конечно, многие из вас дружат с игровой колодой, некоторые даже бредят во сне всеми этими семерками, червонными девами, тузами. Но случилось ли вам играть не с предметным лицом, каким-нибудь Иваном Ивановичем, а с собирательным — хотя бы мировой волей? А я играл, и игра эта мне

знакома. Я считаю ее более увлекательной той, знаки достоинства которой — свечи, мелок, зеленое сукно, полночь. Я должен сказать, что в выборе ходов вы ничем не ограничены. Если бы игра требовала и это было в ваших силах, вы бы могли, пожалуй, стереть мокрой губкой с черного неба все его созвездия, как с училищной доски задачу. Но каждый игрок должен своим ходом свести на-нет положение противника.

Несмотря на свою мировую природу, ваш противник ощущается вами как равный, игра происходит на началах взаимного уважения, и не в этом ли ее прелесть? Вам кажется, что это знакомый и вы более увлечены игрой, чем если бы с вами играл гробовой призрак. Ка был наперсником в этой забаве.

4

Ка печально сидел на берегу моря, спустив ноги. Осторожнее. Осторожнее! Студенистые морские существа, разбитые волнами, толпились у берегов, пригнанные сюда ветром, скитаясь мертвыми стадами и, тускло блестя, скользили из рук купальщиц, то темно-зеленых, то темно-красных в плотно одевавших их тканях. Некоторые непритворно хохотали, застигнутые волной. Ка был художав, строен и смугл. Котелок был на его, совсем нагом, теле. Почерневшие от моря волосы вились по плечам. Тусклые волны, поблескивая верхушками, просвечивали сквозь него. Чайка, пролетая сзади серой тени, видна была через его плечи, но теряла в живости окраски и, пролетев, снова возвращала себе яркое,

черно-белое перо. Его перерезала купальщица в зеленом, усеянном серебряными пятнами, купальном. Он вздрогнул и снова вернул себе прежние очертания. Она смело улыбнулась и посмотрела на него. Ка сгорбился. Между тем долго плававший в воде, выходил из моря на берег, покрытый ее струями, точно мехом, и был зверь, выходящий из воды. Он бросился на землю и замер; Ка заметил, что два или три наблюдательных дождевика написали на песке число шесть три раза подряд и значительно переглянулись. Татарин, мусульманин, поивший черных буйволов, бросившихся к воде, разрывая построжки и ушедших в море на такую глубину, что только темные глаза и ноздри чернели над водой, а все их, покрытое коркой переплетенной с волосами грязи, тело скрылось под водой, вдруг улыбнулся и сказал христианину-рыбаку: „Масих аль Деджал“. Тот его понял, лениво достал трубку и, закурив, лениво ответил: „А кто его знает. Мы не ученые... Сказывают люди“, — добавил он. Военный, в подозрную трубку следивший за редким пловцом, повесил ее на ремень и холодно посмотрел на него, повернулся и пошел плохо заметной тропинкой.

Между тем вечерело, и стадо морских змей плыло по морю. Берег, опустел и лишь Ка попрежнему сидел, обвив руками колени. „Все суетно, все поздно“, — думал он. „Эй, теневой храбрец, — казалось, крикнул ветер: — осторожнее!“ Но Ка был недвижим. И волна смывает его. Подплывает белуга и проглатывает его. В новой судьбе он становится круглой галькой и живет среди ракушек, одного спасательного пояса и пароходной цепи. Белуга питала слабость к ста-

рым вещам. Здесь же был пояс с арабской надписью Фатьмы Меннеды, от тех времен, когда среди копий, кончаров, весел и перначей стоял сам орел смерти, а она отражалась в воде, качнув синими серьгами, хохотунья с раскрытыми раз навсегда печальными глазами, и, ударив веслами, плыл уструг все дальше и дальше, отраженный в ночных водах, и точно усики ночного мотылька касались палубы ноги белого облака.

Но вот могущественная белуга умирает в сетях рыбаков.

5

Ка вернул свободу.

Седые рыбаки, с голыми икрами, пели эды, печальную песнь морских берегов, — и тянули невод мелкий, частый, мокрый, полный капель, в котором порой висели черные раки, схватив клешней за нитку, напрягая жилистые руки; иногда они выпрямлялись и смотрели на вечное море. Поодаль мирно сидели, как большие дворовые собаки, орланы. Морская хохотунья села на камень, в котором был Ка, и отпечатала мокрые ноги. Сама рыба, мертвая, блестела жучками на берегу.

Но его нашла девушка и взяла с собой. Она пишет на нем танку? „Если бы смерть кудри и взоры имела твои, я умереть бы хотела“, а на другой стороне камня — ветку простых зеленых листьев; пусть они оттеняют своим узором нежную поверхность плоского беловатого камня. Их темнозеленый узор обвил камень сеткой. Он испытывал мучения Монтезумы, когда всё бывало

безоблачным, или когда Лейли подымала камень и дотрагивалась до него губами и тихо целовала его, не подозревая в нем живого существа, и говорила языком Гоголя: „тому, кто умеет усмехаться“. Около был чугунный Толстой, нежно-красная морская ракушка, очень блестящая, покрытая точками, и морщинистые, с каменными лепестками, цветы. Тогда Ка соскучился и пришел к своему господину; тот пел: „Мы ели Ен Сао чахоточных стрижей и будем есть их до, до Ён Сао друзей“. Это значило, что он был зол.

— О!—сказал тот мрачно,—ну говори, где и что.— Рассказ про свои обиды журчал: „Она была полна того неземного, неизъяснимого выражения“... и так далее. Собственно, это был жалобный донос на судьбу, на ее черную измену, на ее затылок.

Ка было приказано вернуться и держать стражу.

Ка отдал честь, приложился к козырьку и исчез, серый и крылатый.

На следующее утро он доносил: „Просыпается: я на часах около“ (винтовка блеснула за его плечами).

6

„Восклицательный знак, знак вопроса, многоточие. Оттуда, где дует ветер богов и где богиня Иза-наги, оттуда на ней змеиная полусеребряная ткань, пепельно-серая. Чтобы понять ее, нужно знать, что пепельно-серебряные, почти черные, полосы чередуются с прозрачными, как окно или чернильница. Прелесть этой ткани постигается лишь тогда, когда она озаряется слабым огнем радостной молодой ру-

кой. Тогда по ее волнам серебристого шелка пробегает оттенок огня и вновь исчезает, как ковыль. На зданиях города так трепещет вечерний пожар. Большие очаровательные глаза. Называет себя обожаемой, очаровательной.— Не то,— прервал я поток слов:— ты ошибаешься,— строго заметил я.— „Неужели?“— деланно печально возразил Ка.

— „Вообрази,— еще веселее произнес он немного спустя, как будто принес мне радостную весть:— Три ошибки: 1) в городе, 2) улице, 3) доме. Но где же?— Я не знаю“,— ответил Ка: чистосердечие звучало в его голосе. Хотя я его очень любил, но мы поссорились. Он должен был удалиться. Махая крылами, одетый в серое, он исчез. Сумрак трепетал у его ног, точно он был прыгающий инок, мой горделивый и прекрасный бродяга. „А, это он, бездноглазый!— воскликнули несколько прохожих:— а, где же Тамара, где Гудал?“— дав повод воткнуть в повесть эти художественные мелочи своим испугом горожан. Между тем я ходил по набережной взад и вперед, и ветер рвал мой котелок и бросал косые капли на лицо и черное сукно. Я посмотрел вслед золотившемуся облачку и хрустнул руками.

Я знал, что Ка был оскорблен.

Еще раз он мелькнул в отдалении, изредка маша крылами. Мне же показалось, что я одинокий певец и что Арфа крови в моих руках. Я был пастух; у меня были стада душ. Теперь его нет. Между тем ко мне подошел кто-то сухой и сморщенный. Он осмотрелся, значительно взглянул и, сказав: „будет! скоро!“, кивнул головой и исчез. Я пошел за ним. Там была роща. Черные дрозды и славки

с черной головой скакали в листве. Как охрипшие степные волы, ревели и мычали прекрасные серые цапли, высоко в небо закинув клюв, на самой высокой ветке старого сухого дуба. Но вот промелькнул иннок, в сухой измятой высокой шапке, весь черный, среди дубов. Лицо его было желчно и сморщено. Один дуб имел дупло, в нем стояли образа и свечи. Кору не было, потому что она давно была съедена большими зубной болью. В роще был вечный полусумрак. Жуки-олени бегали по коре дубов и, вступив в единоборство, прокалывали друг другу крылья, и между черных рогов живого можно было найти сухую голову мертвого. Пьяные дубовым соком, они попадались в плен мальчишкам. Я заснул здесь, и лучшая повесть арамейцев „Лейли и Медлум“ навестила еще раз сон усталого смертного. Я возвращался к себе и проходил сквозь стада тонкорунных людей. В город прибыла выставка редкостей, и там я увидел чучело обезьяны с пеной на черных восковых губах; черный шов был ясно заметен на груди; в руках ее была восковая женщина. Я ушел.

Падение сов странное и загадочное удивило меня. Я верю, что перед очень большой войной слово: „пуговица“ имеет особый пугающий смысл, так как еще никому неизвестная война будет скрываться как заговорщик, как рано прилетевший жаворонок в этом слове, родственном корню пугать. Но у меня среди этих зарослей ежевики, среди этих ив, покрытых густыми рыжими волосами корней, где все было тихо и пасмурно, сурово и серо, где одинокий бражник метался в воздухе, а деревья

были тихи и строги, какая-то пыльная трава, точно умоляя, опутала мои ноги и вилась по земле как просящая милосердия грешница. Я разорвал ее нити грубыми шагами, посмотрел на нее и сказал: „И станет грубый шаг силен, порвать молящийся паслен“.

Я шел к себе; там моего пришествия уже ждали и знали о нем; закрыв рукой глаза, мне навстречу выходили люди. На руке у меня висела, изящно согнувшись, маленькая ручная гадюка. Я любил ее.

— „Я поступил как ворон,— думал я: — сначала дал живой воды, потом мертвой“.

Что ж, второй раз не дам!

7

Думая о камне, с написанной на нем веткой простых серо-зеленых листьев и этими словами: „Если бы смерть кудри и волос носила твои, я умереть бы хотела“, Ка летел в синеве неба как золотистое облако; среди малиновых облачных гор, настойчиво маша крылами, затерянный в стае красных журавлей, походившей в этот ранний час утра на красный пепел огнедышащей горы, красный как и они и соединенный с пламенеющей зарей красными нитями, вихрями и волокнами.

Путь был неблизок, и уж капли пота блестели на смуглом лице Ка, тоже красные от лучей зари. Но вот могучая журавлиная труба воинственных предков зазвучала где-то выше, за рыхло-белыми громадами.

Ка сложил крылья и, осыпанный с ног до головы утренней росой, опустил на землю. На каждом

его пере торчал жемчуг росы, черный и грубый. Никто не заметил, что он опустил где-то в истоках Голубого Нила. Он отряхнулся и как озаренный месяцем лебедь ударил трижды по воздуху крылами. К прошлому не было возврата. Друзья, слава, подвиги — все впереди. Ка сел на злого, дикого, никогда не оскорбленного седоком полосатозолотого коня и, позволяя ему кусать свои теневые, но все же прекрасные, колени, поскакал по полю. Стадо полосатых щетинистых волков с гнусавым криком гналось за ним. Их голос походил на обзор молодых дарований в ежедневной и ежемесячной печати. Но золотистый скакун упрямо загибал голову и с прежним бешенством грыз теневой локоть Ка. Он наслаждался дикой скачкой. Два или три Ням-Ням бросили в него ядовитую стрелу и с суеверным ужасом упали на землю.

Он приветствовал землю, потрясая рукой. У водопада он остановился. Здесь он попал в общество обезьян, с светской непринужденностью расположившихся на корнях и ветках деревьев. Одни держали пухлыми руками младенцев и кормили их; младшие возрасты с хохотом проносились по деревьям.

Черная рубашка, могучие низкие черепа, кривые клыки, давали страшный отпечаток этому обществу волосатых людей. Крики буйной сладости доносились из сумрака по временам. Ка вошел в их круг. — „Тогда, — вздохнул почтенный старик с мозолистым лицом, — все было иначе.

„Уж птица Рук исчезла. Где она? И мы не боремся с Ганноном, вырывая мечи и ломая их о ко-

лено как гнилой хвост и покрывая себя славой. Он ушел снова в море. А птица Рук? Я не могу завернуться одним ее могучим пером и спать на другом!

А давно ли она, слетая с снежных гор, утром будила слонов своим криком. И мы говорили „вот птица Рук!“ Тогда она подымала за облака слонят; и они смотрели вниз на землю, и хобот их был ниже тучи, как и ноги, а глаза, серый лоб и уши— выше голубой черты тучи.

Она отошла! Прости, о Рук!..“

--- Прости, — заметили обезьяны подымаясь с своих мест.

Здесь же, у костра, сидела Белая, кутаясь в остатки шали. Вероятно, она зажгла костер и в силу этого пользовалась некоторым почетом.— Белая, — обратился к ней старик, — когда ты шагала через пустыню, мы знали; мы послали молодежь — и ты у нас, хотя многие в последний раз взглянули на звезды. Спой нам на языке своей родины.

Молодая Белая встала.

— Посторонись, бабушка! — сказала златоволосая девушка старой обезьяне, сидевшей на дороге.

Золотые волосы одедали ее в один сплошной золотой сумрак.

Слабо журча, они лились вниз, как зажженные воды, мимо плеча, покрасневшего и озябнувшего. Вместе с прекрасной скорбью, отразившейся в ее движениях, она была поразительно хороша и чудно стройна. Ка заметил, что на ногте красивой правой ноги отразилась вся площадка леса, множество обезьян, дымящийся костер и клочок неба.

Точно в небольшом зеркале можно было заметить старцев, волосатые тела, крохотных младенцев и весь табор лесного племени. Казалось, их лица ожидали конца мира и чьего-то прихода.

Они были искажены тоской и злобой; тихий вой временами вырывался из уст. Ка поставил в воздухе слоновый бивень и на верхней черте, точно винтики для струн, прикрепил года: 411, 709, 1237, 1453, 1871; а внизу на нижней доске года: 1491, 1193, 665, 449, 31. Струны, слабо звеневшие, соединяли верхние и нижние гвоздики слонового бивня. — Ты будешь петь? — спросил он.

— Да! — ответила она. Она дотронулась до струн и произнесла: — „Судеб завистливых волей я среди вас; если бы судьбы были простыми портниками, я бы сказала: плохо иглою владеете, им отказала в заказах, села сама за работу. Мы заставим само железо запеть: „о рассмейтесь!“ — Она провела рукой по струнам: они издали рокочущий звук лебединой стаи, сразу опустившейся на озеро.

Ка заметил, что каждая струна состояла из 6 частей по 317 лет в каждой, всего 1902 года. При этом в то время, как верхние колышки означали нашествие востока на запад, винтики нижних концов струн значили движение с запада на восток. Вандалы, арабы, татары, турки, немцы были вверху; внизу — египтяне Гатчепсут, греки Одиссея, скифы, греки Перикла, римляне. Ка прикрепил еще одну струну: 78 год нашествие скифов Адия Саки и 1980 — восток. Ка изучал условия игры на 7 струнах.

Между тем Лейли горько плакала, уронив чудные золотые волосы на землю. „Худо свой труд

исполняете, горько иглою владеете“ — произнесла она, горько всхлипывая. Ка сломил ветку и положил около плачущей.

Лейли вздрогнула и сказала: „Некогда в детстве безбурном камень имела я круглый и ветку такую на нем“.

Ка отошел в сторону, в сумрак; затаенные рыдания душили его; зелеными листьями он осушал свои слезы и вспомнил белую светелку, цветы, книги.

— Слушай, — сказал старик, — я расскажу о госте обезьян. На Моа приехала она однажды к нам. Мертвая бабочка на игле дикообраза, вонзенной в черную прическу, ей заменяла веер и опахала. В руке был ивы прут с серебряными почками, в руке у Venus обезьян; ладонью черной она держалась за Моа; за крылья и за грудь. Лицо ее черно, как ворон, и черный мех курчавый мягко вился ночным руном по телу; улыбкой страстной миловидна, хорошеньким ягненком казалась она нам.

И с хохотом промчалась сквозь страну. Богиня черных грудей, богиня ночных вздохов“.

Лейли: „Если бы смерть кудри и волос носила твои, я умереть бы хотела“ — уходит в сумрак, заломив над собой руки.

А где Аменофис? — слышались вопросы.

Ка понял, что кого-то не хватало. — Кто это? — спросил Ка. — „Это Аменофис, сын Теи — с особым уважением ответили ему. — Мы верим, он бродит у водопада и повторяет имя Нефертити“.

Аи, Туту, Азири и Шурура, страж меча, кругом. Ведь наш повелитель до переселения душ был по-

велителем на Хапи мутном. И Анх сенпа Атен идет сквозь Хут Атен на Хапи за цветами. Не об этом ли мечтает он сейчас?

Но вот пришел Аменофис; народ обезьян умолк. Все поднялись с своих мест. „Садитесь“ — произнес Аменофис, протягивая руку. В глубокой задумчивости он опустил на землю. Все сели. Костер вспыхнул, и у него, собравшись вместе, беседовали про себя 4 Ка: Ка Эхнатэна, Ка Акбара, Ка Асоки и наш юноша. Слово „сверхгосударство“ мелькало чаще, чем следует. Мы шушукались. Но страшный шум смутил нас; как звери, бросились белые. Выстрел. Огонь пробежал. „Аменофис ранен, Аменофис умирает!“ — пронеслось по рядам сражающихся. Всё было в бегстве. Многие храбро, но бесплодно умирали. „Иди, и дух мой передай достойнейшему! — сказал Эхнатэн, закрывая глаза своему Ка. — Дай ему мой поцелуй“. „Бежим! Бежим!“

По черно-пепельному и грозовому небу долго бежало четыре духа; на руках их лежала в глубоком обмороке Белая, распустив золотые волосы; только раз мотылек поднял свой хобот и в болоте захрапел водяной конь... Бегство было удачно; их никто не видел.

8

Но что же происходило в лесу? Как был убит Аменофис?

I — Аменофис сын Тэи. II — он же, черная обезьяна (полосатые волчата, попугай).

1) Я Эхнатэн.

2) И сын Амона.

3) Что говоришь Аи, отец богов?
4) Не дашь ли ты Ушепти?
5) Я бог богов; так величал меня ромету; и точно, как простых рабочих, уволил я Озириса, Гатор, Себека и всех вас. Разжаловал, как рабису. О солнце, Ра Атэн.

6) Давай, Аи, лепить слова, понятные для пахаря. Жречество, вы мошки, облепившие каменный тростник храмов! В начале было слово...

7) О Нефертити, помогай!
Я пашни Хапи оваливил,
Я к солнцу вас, ромету, вывел,
Я начерчу на камне стен,
Что я кум солнца Эхнатэн.

От суеверий облаков
Ра светлый лик очистил.
И с шопотом тихим Ушепти
Повторит за мною: ты прав!

О Эхнатэн, кум солнца слабогрудый!

8) Теперь же дайте черепахи щит. И струны, — Аи!
Есть ли на Хапи мышь, которой не строили 6 храма? Они хрюкают, мычат, ревут; они жуют сено, лвят жуков и едят невольников. Целые священные города у них. Богов больше, чем не богов. Это непорядок.

1) Хау-хау.

2) жрабр чап-чап!

3) Угуум мхөө! Мхөө!

4) бгав! гхав ха! ха! ха!

5) Эбза читорень! Эпсей кай-кай! (гуляет в сумрачной дубраве и срывает цветы). Мгуум мап! мап!
Мап! Мап! (кушает птенчиков)

6) Мио б пэг; б пэг! вийг.

Га ха! мал! бгхав! гхав!

7) ег ж изэу равира!

Мал! Мал! Мал! май, май. Хаио хао хиудиу.

8) рррра га-га. Га! грав! Эньма мэвиу-унай!

Аменофис в шкуре утанга, переживает свой вчерашний день. Ест древесный овощ, играет на лютне из черепа слоненка. Остальные слушают. Ручной попугай из России:

„Прозрачно небо. Звезды блещут. Слышали ль вы? Встречали ль вы? Певца своей любви, певца своей печали“.

Трубные голоса слонов, возвращающихся с водопоя. Русская хижина в лесу, около Нила.

Приезд торговца зверями.

На бревенчатых стенах ружья, Чехов, рога. Слононок с железной цепью на ноге.

Купец: Перо, бивни; хорошо, дюша моя.

Заказ: обезьяна; большой самец.

Понимаешь? Нельзя живьем, можно мертвую на чучело; зашить швы, восковая пена и обморок из воска в руки. По городам. Це, Це! я здесь ехал: маленькая резвая, бегаёт с кувшином по камням. Стук-стук-стук. Ножки. Недорого. Ещё стакан вина, дюша моя.

Старик: Слушай, почтенный господин мой: он рассердится и может испортить причёску и воротнички почтенному господину.

Торговец: Прощайте! Не сердитесь. Хе-хе! Так охота на завтра? Приготовьте ружья, черных в засаду; с кувшином пойдет за водой, тот выйдет и будет убит. Цельтесь в лоб и в черную грудь.

Женщина с кувшином: Мне жаль тебя: ты выглянешь из-за сосны и в это время выстрел меткий тебе даст смерть. А я слыхала, что ты не просто обезьяна, но и Эхнатэн. Вот он, я ласково взгляну, чтобы, умирая, ты озарен был осенью желанья. Мой милый и мой страшный обожатель. Дым! Выстрел! О страшный крик!

Эхнатэн — черная обезьяна: Мәу! Манчъ! Манчъ! Манчъ! (Падает и сухой травой зажимает рану).

Голоса: Убит! Убит! Пляшите! пир вечером. (Женщина кладет ему руку на голову).

Аменофис: Манчъ! Манчъ! Манчъ! (Умирает. Духи схватывают Лейли и уносят ее).

Древний Египет.

Жрецы обсуждают способы мести.

„Он растоптал обычаи и равенством населил мир мертвых; он пошатнул нас... Смерть! Смерть!“
Вскакивают, поднимают руки жрецы.

Эхнатэн: — О, вечер пятый, причал травы!

Плыви „величие любви“ и веслами качай, как будто бы ресницей. Гатор прекрасно и нежно рыдает о прекрасном Горе.

Коровий лоб... рога телицы... широкий стан. Широкий выступ выше пояса.

И опрокинутую тень Гатор с коровьими рогами, что месяц серебрит в пучине Хапи, перерезал с пиллой брони проворный ящер. Другой с ним спорил из-за трупа невольника.

Вниз головой прекрасный, но мертвый, он плыл вниз по Хапи.

Жрецы (тихо): Отравы. Эй, пей, Эхнатан, день жарок.

Выпил! (Скачут). Умер!

Эхнатан (падая): Шурура, где ты? Аи, где заклинания?

О Нефертити, Нефертити!—падает с пеной на устах.

(Умирает, хватаясь рукой за воздух).

Вот что произошло у водопада.

9

Это было в те дни, когда люди впервые летали над столицей севера. Я жил высоко и думал о семи стопах времени. Египет — Рим, одной Россия, Англия, и плавал из пыли Коперника в пыль Менделеева под шум Сикорского. Меня занимала длина волн добра и зла, я мечтал о двояковыпуклых чечевицах добра и зла, так как я знал, что темные греющие лучи совпадают с учением о зле, а холодные и светлые — с учением о добре. Я думал о кусках времени, тающих в мировом, о смерти.

И на путь меж звезд морозный

Полечу я не с молитвой,

Полечу я — мертвый, грозный,

С окровавленной бритвой.

Есть скрипки трепетного, еще юношеского, горла и холодной бритвы, есть роскошная живопись своей почерневшей кровью по белым цветам. Один мой знакомый — вы его помните — умер так; он думал как лев, а умер как Львова. Ко мне пришел один мой друг, с черными радостно-жестокими глазами, — глазами и подругой. Они принесли много сена славы,

венков и цветов. Я смотрел, как Енисей виной. Как вороны принесли пищи. Их любовная дерзость дошла до того, что они в моем присутствии целовались, не замечая спрятавшегося льва, мышата! Они удалились в Дидову Хату. На сухом измятом лепестке лотоса я написал голову Аменофиса; лотос из устья Волги или Ра.

Вдруг стекло ночного окна на Каменноостровском разбилось, посыпалось и через окно просунулась голова лежавшей спокойно, вдвинутой, как ящик с овощами, походившей на мертвую, Лейли. В то же время четыре Ка вошли ко мне. „Эхнатэн умер,— сообщили они печальную весть.— Мы принесли его завещание“. Он подал письмо, запечатанное черной смолой абракадаспа. Вокруг моей руки обвивался кольцами молодой удав; я положил его на место и почувствовал кругом шеи мягкие руки Лейли.

Удав перегибался и холодно и зло смотрел неподвижными глазами. Она радостно обвила мою шею руками (может быть, я был продолжение сна) и сказала только: „Медлум“.

Растроганные Ка отошли в сторону и молча утирали слезы. На них были походные сапоги, лосиные штаны. Они плакали. Ка от имени своих друзей передал мне поцелуй Аменофиса и поцеловал запахом пороха. Мы сидели за серебряным самоваром и в изгибах серебра (повидимому это было оно) отразились: Я, Лейли и четыре Ка: мое, Виджайи, Асоки, Аменофиса.

Я опять шел по желтым дорожкам истоптанного снега Разумовской пуши. Снежные перины из перьев морозного лебедя тянулись по бокам, одна за другой, вставали лиственни и, как души предков, темные и таинственные, беседовали с темнотой, и ласковой хвоей задевали глаза пешеходов. „Бабушка или дедушка свешивается с этой узловатой прозрачно-хвойной ветки?“ — думал я.

Что-то родное и знакомое в них, в их шопоте дерева людям.

Сухой треск, грохочущий рокот, быстрое дыхание ежа, комком несущегося по небу, шум и треск паровоза, разводящего свои пары, запачкали пятном шумов мысли о предках, и я опять увидел на небе четыре ровные пластины, управляемые человеческою пылинкою, и строгий закон плоскостей теньвым богом скользнул за верхушками лиственей.

Это он, крылатый человек, слепым полетом, шумя и рокоча, пронесся над рощей, и в его треске, наполнившем околицу, явно чувствовалась близость военной трубы и голосов войны.

Красные круги были на нижних плоскостях и походили на красные глазки сумрачных бабочек-бражников, и все пластины, темные на небе, были просты как военный приказ.

Сейчас он сядет на землю и помчится на узких лыжах, и облако снега, догоняя, бросится ему вслед и будет его преследовать, как узкогорлые борзые.

Грохот уменьшился и, отброшенная красным западом, тень скользнула среди деревьев.

Я сел на 13 и озираю соседей, случайных теней земного шара, моих спутников. Мы молчали, но глаза наши глухо резались черкесскими шашками; так долго и упорно мы резались.

Кто-то говорил: „Притворяться младенцем сейчас нельзя. Нет. Мертвые, вы спрятались в норы своих могил. Идите к нам и вмешайтесь в битву. И если живой белый камень, обвитый инеем своего дыхания, спокойно и грустно смотрит на вас и улыбка мыслителя, жилища вдохновенного камня среди берез и черных елей, живет на его устах, — оскорбите его сон. Нарушите его тишину. Заставьте его выйти на улицу. Живые устали. Пусть в одной сече смешаются живые и мертвые. Оденьте на его снежное чело венки грязи.“

Раскачиваемый на поворотах, изучающий и изучаемый соседями, в облаках визга, я несся в город по большой белой дороге.

В эти дни я был пустой обложкой и хотел все имена, все славы и все подвиги земного шара, как новые заряды, как будущие выстрелы, вложить в пустую обложку моей души, моих сегодняшних дней.

А вы, а вы позорно спрятались в свои гробы, как комары зимой в щели зданий. Стыдитесь. И мертвые не летели на мой зов, как послушные голуби. Я видел плывущими по водам смерти старые одежды человечества и торопливо прял и ткал новые одежды. Я знал, что после купанья в водах смерти люд станет другим. Я был портной. Я шел

по улицам. Струны столетий соединяли куски города разного возраста. Проволока веков трепетала звуками — от золотых луковиц храма, где, казалось, ехали седые бояре и бродила мнимая толпа в серебристых зипунах и блестели мнимые секиры и копья, — до стрельчато-стеклянных зданий рынков и прямых и белых стен с серыми кувшинами и навсегда умершими богами в круглых пещерах — дел недавнего времени. Мнимые смуглые лица боролись с вещественными серо-зелеными и там — из толпы выскакивал, побеждая, мнимый людина, здесь — одолевал вещественный. Как копья ломались и бились друг с другом волины поколений, и их дела, биения, разностные шумы и добавочные, тянулись от низких белых ворот до большой стеклянной пустоты окна, где стекло звало в гости глаза и захлопывало двери перед возможным туловищем. Там и здесь вращались приводные ремни прежних дум и зубчатые колеса прежних душ.

Беженцы давали тревогу городу. Иногда извозчики останавливали своих милооких кляч, и беженец, шедший по улице, подбегал к нему и тряс руку беженке со всем жаром неожиданной встречи, после разлуки там, где людские дела освещало лицо войны.

Я поздоровался с малиновым цветущим окороком; через двадцать лет он будет уважаемым лицом этого города.

Струны столетий разностными шумами окутывали город, и точно ожерелье, наполненное строгою сельдью людей, бегали в сумраке золотые боченки. И сумрак, красам рок, звал своих подданных,

И вот я видел его — его, юношу земного шара: он торопливо выходил из воды и одел малиновый плащ, пересеченный черной полосой цвета запекшейся крови. Кругом были слишком зеленые травы, и бежал беженец, тетивой войны отброшенный далеко на чужбину.

Мы были на выставке $\sqrt{-2}$; разговор коснулся аганкары человека и аганкары народа и о совпадении их. Мы стояли перед живописью: „Вестник булавок“ заменял Еву, и на нем лежало яблоко; „Вестник лыж“ — Адама, а третье издание — искушающую змею. Мы оживленно и громко беседовали; но присоединился блюститель нравов и указал на недопустимость одного холста; таким, по его мнению, которому мы могли только подчиниться, была, кажется, турчанка, лежавшая на берегу моря. Только лоб и край рта был закрыт черной повязкой с кружевами; тень падала на рот и подбородок. Золотистые пятна чередовались с голубыми тенями этого, опутанного неводом лучей полдня, тела. Мы тотчас согласились. В руке у меня были печатные вести утра; я оторвал край надписи „Дарданеллы“ и, приколов с помощью двух булавок, придал холсту достойный вид.

Теперь мусульманка лежала на берегу моря, полуупав на руки, полная золотистых теней; но обрывок бумаги с черным заголовком „Дарданеллы“ закрывал ее.

Греции присущ избыток моря, Италии — избыток земли. Возможно ли так встать между источником света и народом, чтобы тень Я совпала с границами народа? Я сел на диван в углу выставки и устало смотрел на бесконечные холсты с их чистоготтентотской красотой. „Африканские владе-

ния не прошли даром для арийцев“. Я задремал. Мне казалось, что я лежу на море так, что колени были вдавлены в морское дно, а пятки торчали на суше. Я был велик. Та же мусульманка боролась и отталкивала кого-то руками. Галлиполи был покрыт маслинами и казался серебряным. Я поломал свои узкие нежные пальцы о береговые утесы. Та же черная маска была у ней на лице. Синеющий дым окутывал берега, и вся она была из дыма. И вот „Квин Элизабет“ черной паутиной снастей разрежала воды и вся укуталась дымом. Взрывы пороховых погребов дополняли черным кружевом маску битвы, и сквозь прорезы упорно блистали синие глаза турчанки. И вот 600 людей „Бувэ“ пошло ко дну; еще два взрыва. Это была борьба и, изнеможенный, я поднялся, упал на берег и долго лежал в забытьи. Предо мной стояли испуганные глаза и закушенные от усилия губы. Гречанки хоронили убитых на Тенедосе, и их заунывные песни и жгучие глаза темных лиц казались мелкими и слабыми после виденного, когда 600 моряков опустили на дно плечи и руки.

Мне было жаль турчанки.

СКУФЬЯ СКИФА

МИСТЕРИЯ

„Идем сюда, — сказал Ка, — где Скифы и Сфинкса по утрам бегают по золотистому песку“.

Лелеемые усталой ладонью ветра, сыпались пески и убегали дальше то как мука, то как снег, то как золотое море шумящих тихо-золотистых струн. Рогатая степная змея подымала голову и после, тихими движениями, набрасывала себе на глаза песочную шляпу. Золотистый, он с шорохом просыпался со лба змеи. Жаворонок, недавно прилетевший из дальней Сибири, садился на черный сучок рога змеи, на ее засыпанный песком лоб, как на ветку, и погибал в меткой пасти. Он только-что спустился из облачных хребтов, где они летели вместе, бок-о-бок, как моряки, слыша удары грома, и поляны тишины заполняя своим пением жаворонков. Он отдыхал в вечно мерзлой стране на высунувшемся из крутого берега темно-глиняном, покрытом резьбой столетий, клыке мамонта; он ночевал в пространной глазнице мамонта, а утром, когда их стая, щебеча и опьяненная полетом, соединяла свои голоса в тот мощный звучащий собор, который мог бы быть понят отдаленным громом или отголоском великого пения богов, то человеку человеческий мир вдруг показался тесным и менее, чем ранее. Жаворонок, серебряный с черными рогами, затрепетал и вдруг поник головой. Его большой

черный глаз, где отражались еще реки Сибири, полузакрылся. „Я умираю, я тону в лоне смерти, — сказал он, — я, жаворонок“. Став толще, песчано-золотая змея засыпала и последним каменным взором с желтым зрачком посмотрела на каменного льва. Чтобы напоминать молодым людским волнам о старых гребнях людей, его вытесали из камня и дали упругий удар хвоста кругом бедер, и плененные бедра, и полузакрытые глаза, и разрезанные морщинами веков губы. Он смотрел по-человечески вдаль, полузакрыв в песках звериные лапы. Случалось, что утренний морок останавливался около уст шептаться о тайнах столетий. Скомканые перчатки и скомканный плащ лежали на лапе льва. И странно было видеть черное сукно на суровом камне.

В это время малиновый меч солнца упал поперек пустыни, а черные пятна ночи побежали прочь, и прекрасное пение бесов донеслось до змеи из глубин мятежного звериного камня. Что там было, там, в подземельях львиного туловища, за кругом львиного хвоста? Седой вдохновенный жрец отодвигал на нити времен новую четку дня. Он стоял протянув руку. Юноши в венках были внизу. Жрица с голубыми серо-бледными глазами складывала, согнувшись, ветки для костра. Веря жрецу и задумавшись, она смотрела в упор серыми глазами и молчала. Руки ее собирали травы и бледные лютики, украшающие венки. Жрица молча смотрела на нас, прекрасно и строго, но веря нам, и одежды овером падали к ногам Девы с черной повязкой кругом стана. Хворост, венки и смолы были сло-

жены. Элаки пустынь, покрытые ручьем серебряного волоса, круглые и восковые-зеленые лежали на круглом камне. Сквозь черный колодезь вынутаго камня падал к нам малиновый луч.

А кругом, как стены храма, с задернутыми облаками глазами, лежал наполовину человеческий лев. Губка времени была пролита на его лицо. „Дети, — сказал жрец, — вот он зажегся, сияющий глагол“. Мы благоговейно слушали его в этом подземельи храма. Он продолжал дальше: „Вот большие и малые солнца кружатся во мне. Слышите ли вы их звук, как они поют, и пение их сливается морским глаголом с морем солнц, с пением утреннего неба? И вся слава меня хвалит звездную славу там. И если мы конебесы и черный ветер концов наших грив, пена снежных комьев усталости, захлестывающие нас удары хвоста, злые глаза осады. Топот. Еще топот! Сколько их поднялось на дыбы и гуляет на задних ногах, грозя передними. Мы заполняем пропасти утесами, на которых книги, не прочтенные седыми волхвами тысячелетий. Мы захлестываем себя гривами, спешно набрасывая горный мост к небу. О, гул восстания! Осада. Деревья, бревна, осколки законов, горы, веры — все заполняет ров к замку неба. И улыбка судеб торчит репейником на наших диких гривах. Черные, белые, золотые, снежные товарищи. Вы походите на крыло орла, клюющего небо!“

Стук прервал его мятежный голос.

Что — там?

— Путешественник с сухой дыней на голове стучит палкой по камню храма, — ответили мы.

— Добре. Ломка уз еще надежней и верней. Пучина пуз пылает пеною парней! — огненно заключил он сходя.]

—Вспомним про полуздернутые временем глаза хромозверя. Вспомним эту губку времени, пролитую мимо глаз! — он кончил. Прекрасный удав со свинцовым взглядом и холодным разумом в них, как будто на дереве качался у него на руке. Серопепельные пятна свинцово-железным сложным узором украшали его тело. Он дважды обвил руку — живой думающий жезл, раскачивающий свое тело. Вы, жреческие отроки, расскажите, где вы были? Все сели на белые каменные лавки, вдоль стен.

И ты, сероглазая и бледная, ты, призрак каменной лавки, вслушайся в таинство другого разума. Утро кончилось. Все начали свои повести. И первый начал:

„Я сидел в подводной лодке, я склонился над столом-зеркалом. Журчание воды слышалось сверху и с боков. Мы неслись. Однообразные волны серым узором плеска покрывали поверхность зеркала. Но темная черта омрачила море, и на ней были трубы и дым; на корме были люди. Звонки. Звонки. Шум подводного выстрела. Бледное пламя! Мы сказали: „хох!“ Мы ложились на дно. Нас обгоняли человекопохожие предметы. Так, крутятся, падают листья дерева — в голубой сумрак дня, и стучались в окна подводной лодки рукой мертвеца. Веками раньше, но в тот же вечер, в пустыне дубовых стволов, под водой гребя веслами, мы, Запорожская Сечь, подплыли к голубому городу и качались под водой и сторожили черно-золотые паруса. Под водой мы

гребли веслами. Красное, как сегодня утром, солнце закатывалось в море. Но сечевики дышали в трубки, держали в руках смоленые концы весел и тихо качались под водой. Но вот проплыла ладья. На ней стояло много женщин в белом; все темные и стройные. Стоя на корме в длинных золотых кольцах на локтях и ногах, они были дети, ответившие на синие волны моря черными лучезарными волнами волос. Они плыли дальше. Наш вождь поплыл вплавь и как утопленник был принят на ладью. Сытые грабежом, мы поплыли назад. Пустые дубы чуть заставляли горбиться море, и только морские хохотуньи, увидя нас, прыдали кверху. Морской шар синел. Мы были у родины. Славянки в золотых волосах встречали нас у устья реки и пели:

Челнок с заморским витязем
Зовет на берег выйти земь.
Толпе холодных лад
Не надо медных лат.
Мы бросили жребий в синь,
Венком испытую богинь.
Вернулись! Вернулись! Вернулись!
Знакомые тополи улиц.
Голубые, плакать не за чем.
Есть утех колосья, резать чем.

Мы тихо зевали, утомленные длинным рассказом, где времена сияли через времена. И кто-то сказал: „Я тот же! Я не изменился!“

Мы встали и разбрелись. Костер дымился над серебряным пеплом. Но вот священное пламя заколебалось и задвигалось как змея, когда она при-

слушивается к священным звукам. Все насторожились. Кто-то вошел и шепнул на ухо и показал на камень змеевласой женщины, стоявший в сумраке. Кто-то сказал: „Помни об осужденных умереть на заре. Ах, сплести еще одно уравнение поделуев из лесных озер“.

.....
Целый день нагой я лежал на песчаной отмели в обществе двух цапель, изучаемый каким-то мудрецом из племени ворон. Он не видал еще нагого человека. Я думаю так.

Между тем озеро, полное неясных криков и вздохов, начинало жить особой ночной жизнью. Вздохи избытка жизни, покрываемые мрачным кашлем цапель, доносились от него, похожего на тусклое серебро. Сын Солнца, женоподобный, темный, в волосах ниже плеч — бывало он любовно и нежно расчесывал их большим гребнем, точно он звал это делать незнакомую девушку, — выходил из-за костра, и чем сильнее он опускал свой гребень в темные волосы, тем любовнее и темнее делались его добрые глаза.

Кружево и белая рубашка женщины оттеняли темную шею иго. Его ноги, одетые в светлые волосатые штаны белого, были обуты в привязанные ремнями подошвы.

.....
Я помнил кроваво-золотые пятна на голубовато-белой голове призрака, золотое пятно его шлема и черный дым над ним, точно копоть над пламенем свечи.

Пустыня молчала. Ночью мы поднялись смотреть коготь гуся, блиставший в вышине, и освежиться дивным холодом ночи.

Большие костры изумили нас. Путешественник за-
снул и, упав головой, темнелся около ног, закры-
тый плащом.

— Завтра вы оставите храм, — сказал старик.

К утру, во время черной зари звезд, мы расстались.
„До свиданья“, — сказали мы. Ка увел меня за
руку. Прошли месяцы войны.

Мы встретились на севере, у моря, на покрытых
соснами утесах.

Я помнил слова седого жреца: „У вас три осады:
осада времени, слова и множеств“. Да, государство
людей, родившихся в одном году. Да, таможенные
границы между поколениями, чтобы за каждым
было право на творчество.

Правда, их тела нам не нужны. Но ведь отдель-
ные тела — листья и остается еще дуб. Пусть он
воет от наших ударов — что нам до листьев — их
много и на смену одному вырастет другой.

Поезда уже были проложены по дну моря; я вос-
пользовался одним из них. Среди этих утесов, из-
рытых морщинами, чьи ноги были вымыты морем,
мне нужно было найти Числобога — бога времени.
Один из этих черных утесов, точно любимец древ-
них — зубр, стоял в море и рога опустил в море.
Я шел к нему, шагая по людским глинам, при-
липавшим к подошвам. Глина тихо скрежетала. Мы
относились к людям как к мертвой природе.

Китаец, со спрятанной косой, пропустив сквозь
ноздри змею, вышедшую потом изо рта, улыбался

узкими глазами в слезах, приговаривая: „хорошая змея, живой змея“. Потом он носился с гремящей острогой, собирая зрителей и высек за что-то маленькую куклу, у которой просил помощи и чуда. „Теперь сделает“, — лукаво объяснил он свой договор с небом. Белая мышь выползла из чашки. „Живой“ — радостно указывал, что мышь — живой.

— Где Числобог? — спросил я его. Он вынул змею и сказал: „Ветер знает, моя бог не знает“.

— Стрибог, ты синий и могучий, ты верно знаешь, где Числобог?

— Нет, — ответил, — я должен сейчас как буря погнать над морем стадо ласточек. Спроси Ладу — она среди лебедей и лелек.

Лада направила к Подаге.

Подага холодно убивала зайца о ружье и в белой шубке стояла на поляне. Знакомые серо-голубые глаза удивили меня.

— Числобог? — спросила Подага. — Он стал где-то королем государства времени. — Две гончие своим зовом прервали разговор. Это меня удивило. Как? он собирал подписи своих первых подданных? Числобог мог стать королем времени? Легкий вздох вырвался вслед навсегда исчезнувшей Подаге.

Привыкший везде на земле искать небо, я и во вздохе заметил и солнце и месяц и землю. В нем малые вздохи как земля кружились кругом большого. Что ж, от этого Подага не вернется. И даже лай ее гончих становится все тише и тише. Я стал думать про власть чисел земного шара. Еще уравнение вздохов, потом уравнение смерти. И всё.

На этом государстве не будет алой крови, а только голубая кровь неба. Даже среди животных различают виды не только по внешнему виду, но и по нравам. Да, мы искусные и опасные враги и не скрываем этого.

Я был у озера среди сосен. Вдруг Лада на бело-струйном лебеде с его гордым черным клювом подплыла ко мне и сказала: „Вот Числобог, он купается“. Я посмотрел в озеро и увидел высокого человека с темной бородкой, с синими глазами в белой рубашке и в серой шляпе с широкими полями. „Так вот кто Числобог, — протянул я разочарованно: — я думал, что [что-нибудь] другое!“ — Здравствуй же, старый приятель по зеркалу, — сказал [я, протягивая] мокрые пальцы. Но тень отдернула руку и сказала: „Не я твое отражение, а ты мое“. Я понял это и быстрыми шагами удалился в лес. Море призраков снова окружило меня. Я этим не смущался. Я знал, что $\sqrt{-1}$ нисколько не менее вещественно, чем 1; там где есть 1, 2, 3, 4 там есть и -1 , и -2 , -3 , и $\sqrt{-1}$, и $\sqrt{-2}$, и $\sqrt{-3}$. Где есть один человек и другой естественный ряд чисел людей, там конечно есть и $\sqrt{-}$ человека, и $\sqrt{-2}$ людей и $\sqrt{-3}$ людей и n — людей = $\sqrt{-n}$ людей. Я сейчас окруженный призраками был $1 = \sqrt{-}$ человека.

Пора научить людей извлекать вторичные корни из себя и из отрицательных людей. Пусть несколько искр больших искусств упадет в умы современников. А очаровательные искусства дробей, постигаемые внутренним опытом!

Жерлянки, жабы, журавика окружали каменный жолоб, где журчал ручей.

А я же жертву принесу — прядь золотистых волос Подаги сожгу на камне диком. Я расскажу, чем заменили мы войну. Железные рабы на шахматной доске во много верст, друг друга разрушают по правилам игры, и победитель в состязании уносит право победителя его прославленному народу.

Но вот послы.

„Добро пожаловать, любезные соседи“. А между тем Подага с гончими стояла на склоне холма.

Гуж гор гудел голосами грохота гроз в глухом глупце. Глыбы, гальки, глины, гуд и гул.

Зелено-звонкий. Змей зыби — зверь зеркал — зой зема — зоя звезд. И звука зов и зев. Зев зорь виляет зоем зова звезд. Над зеркалом зеленых злавков — зрачков зеленых зема, змея звука звонких звезд. Но плавал плот плененных палачей на пламени полого поля — пустыне пузыристых пазух и пуз на пенистом пае пещерного прага пустот — пружинистой пяткой полуночных песен и плясок. Пищали пены пестропегой пастью и пули пузырей пучины печи пламенеющей. Их пестует опаска праздных прагов — еще прыжок пучинной пятки перянных пальцев прыжок прожег пружинистую пасть пены у пещер. О, певчегие племена! На большом заборе около моря было напечатано: „в близком будущем открывается государство времени“. Каменные рабы, стоя на шахматном чертеже, охватывавшем часть моря и суши, разрушали друг друга, руководимые беспроволокой.

уснащенные башнями вращающихся пушек, огненной горечью, подземными и надземными жалами. Это были большие сложные рабы, требовавшие и количественного и качественного творчества, выше колоколен, крайне дорогие, с сложными цветками гол Невидимые удары на проволоке воли полк руководили действиями, наконец железного от поч до мозга, война. Их было 32, которые не права встать на чужую клет силами стоявшего на ней противника. Их было 32 выше колоколен каменных рабов. Надев на локоть щит земного шара, можно было спастись от ударов.

Недалеко от черты прибоя, на полудиком острове Кулаалы, вытянутом в виде полумесяца, среди покрытых травой песчаных наносов, где бродил табун одичавших коней, стояла рыбацкая хижина. Сложенные паруса и весла указывали, что это был стан морских ловцев. Здесь жил ловец Истома и его отец, высокий, загорелый великан с первой сединой в бороде. Зимой они громили тюленей и, увидев зверя, когда он, похожий на человека, выстал в море и смотрел любопытными глазами, бросали в него копье с подвижным кокотом.

Теперь они собирались в весеннюю путину и то подымались, то спускались из избушки на сваях около старой ивы; с веток ее падали морские сети, а около корней стояла смола. Заплаты, свежестелженные на парус, заново черная от смолы бударка, сверкающее солнце, сверкающее на волнах и на смоляных боках лодки, громадная белуга, лежавшая на лодке, свесив на землю свою махалку, орланы, белохвосты, сидевшие на отмели, другой — черной точкой сидел на верхушке песчаного обрыва, и тучи уток со свистом падали откуда-то сверху на то подымавшееся, то опускавшееся море, — вот что было вокруг.

Рано утром лодка весело побежала в город, охваченный тогда славой Разина. Полотняное небо паруса шумело над ловцами, и мир делался тесен и близок.

Трава, в которой свободно скроется верблюд, с обеих сторон склонялась над водой. Здесь они увидели лодку; охотник правил одним веслом; лицо его было настолько искусано мошками, что казалось изуродованным оспой. Он почти не видел; мертвый кабан лежал на лодке.

Сонные черепахи удивленно подымали свои головы или прыгали в воду, а в воде проворно скользили великолепные красно-золотистые ужи.

Иногда их было так много, что, казалось, бесчисленные травы волнуются течением. Под шум согнутого паруса быстро скользила ловецкая лодка. Она пристала на кутуме и там, где стояли старые ивы, покрытые рыжим ивовым волосом, отчего они походили на поставленных на голову людей, а прозрачные ветви были одеты гнездами цапель, бросила в песок тяжелую кошку.

Ловцы вышли на берег.

Мимо Кремля, через Белый город и Житный город, проходя то Вознесенскими, то Кабацкими воротами, ловцы, сгибаясь от осетра, положенного на плечи, пошли мимо рядов с ловецкой сбруей, к знакомому старообрядцу-помору.

В одном месте их остановило стадо красного степного скота. Конные пастухи гнали их по узким улицам, и их кривые рога теснились как речные волны. В самую гущу их врезалась тяжелая телега с зеленовато-белыми телами осетров. Там степняк ехал на стонавшем верблюде, здесь на белых украинских волах — чумаки.

У берега стояли суда с парусами из серебряной парчи и около них живописные женщины Востока.

Вольные сыны Дона в драгоценных венках, усыпанных крупным жемчугом, и серебряных зипунах, там и здесь мелькали на улицах. Имя Раина...

Черноглазые казачки в вышитых сорочках стояли около глиняных плетней и широко улыбались всему миру; в черных покрывалах проходили татарки. Закутанные в белое, на верблюдах проезжали степные женщины.

Старик-помор встретил их на пороге своей землянки, обнесенной забором из соломы и грязи. Так, спасаясь от зноя и пожаров, жили русские того времени.

Когда они спустились по ступенькам вниз, от темноты они ничего не могли некоторое время увидеть, но потом заметили земляные лавки, покрытые восточными коврами, и несколько тяжелых кубков на столе.

Дородная, немного тучная, женщина вышла навстречу гостям. Ее лицо было покрыто сетью мелких морщин и было старчески миловидно. В красном углу сидел гость — индус. Что-то прозрачное в черных глазах и длинные черные волосы, загибаясь, падавшие на плечи, давали ему вид чужестранца. Он рассказывал новости, привезенные недавно из Индии, некогда столь кроткой, что она самому небу жертвовала только цветы. Как опора и надежда браминов, Саваджи восстал против коварного Ауренгзиппа, быстро основав государство махратов; и как, с другой стороны, среди яростной борьбы поклонников Вишну и поклонников Магомета разливается кроткое учение гуру (учителей) Нанака

и Кабира; как проповедующие общее братство и равенство для всех людей сикхи (ученики) выбрали своим пророком сначала Говинда, а потом Тег Бохадура, и как преследует сикхов вероломный Ауренгзипп, не брезгая ни ядом ни наемным убийцей, и как в Китае недавно кончилось восстание Чанг-гиент-шонга, и как дух свободы пылает над всем миром.

Рассказывал и про Галай-гала яму индусов.

Гневно рассказывал про Китай, как там бедняк за полтинник, врученный его семье, соглашается идти на казнь вместо другого, и кладет на доску свою морщинистую шею и покрытую седой косой голову; как там нельзя найти земли величиной с ладонь, которая бы не была покрыта колосьями; как человек возделывает такие неприступные высоты, что, казалось, у него должны были бы быть крылья, чтобы залететь туда, а собирая морскую капусту, человек приступает к возделыванию пространств моря.

И многое другое рассказал индус; глубокой ночью разошлись спать.

Истома заснул, думая о пленнике, брошенном в яму, по лицу которого ползает жаба; о правителях, которым приносят корзины вырванных глаз; о правителях, зашивающих рты слишком говорливым и разрезающих рот слишком молчаливым; о казни глотанием песка до смерти. Утром Истома двинулся на рынок.

Он пересек шествие; большое знамя, на котором был изображен положенный на костер кабан, развевалось впереди отряда. Всадники в черных бурках,

на сухопарых злых конях ехали за ним. Мелькали их черные шапки с малиновым верхом.

Это был Зажарский стрелецкий полк. В толпе же чаще и чаще слышалось имя Разина.

Взволнованные люди входили и выходили через все 7 ворот Белого города: Мочаловские, Решеточные, Вознесенские, Проломные, Кабацкие, Агарянские, Староисадские.

Здесь он снова встретил индуса Кришнамурти. Кришнамурти с раннего утра ушел за город, где зеленые сады застыли над тихими речками, и остановился в немом изумлении. „Аум“, — тихо прошептал он, наклоняясь над колосом синих цветков.

— Что? Дивуешься божьему миру? Дивуйся, дивуйся! — произнес за его плечами голос древнего старика. В лаптях, в синих портах и белой рубашке, он стоял, опираясь на палку, ветхий и столетний. Лебедь времени, Кала-Гамза, трепетал над ним, над его седыми кудрями. Он был стар. Оба поняли друг друга. Потом Кришнамурти взял с собой мальчика и пошел с ним кормить диких бесприютных собак.

Он пошел на рынок у Кабацких ворот.

Здесь на открытых столах гуляла повольница. Слышались отрывочные слова, восклицания:

— Друг, иди сюда! Тяжко мясу без мяса! Тяжко другу без друга, как соловью без луга.

— На, пей! Веселись душа!

Смуглые воины пировали под открытым небом.

— Слушай: видела жаба, как коня куют, — протянула и свою ногу: „куй, кузнец!“

— Так и ты, друг, — воскликнул смуглый, почти черный человек, ударяя смуглой рукой по столу. Вокруг нее, точно веревки, вились тугие жилы, изобличая в нем силача-воина.

— Э! Рыбу водой не поят. Дыня или тыква? Хохот покрыл слова говорившего.

В это время резкий стон прорезал многоголосый говор толпы.

Это проходила среди толпы высокий малый в белой рубашке и зипуне ярко-красного цвета. В руках у него был дикий лебедь, связанный в крыльях тутими веревками.

— Лебедь, живой лебедь! — Казалось, его никто не слышал. Индус не принадлежал к расколу Шветамбара, требовавшему от учеников ходить нагими, быть „одетыми в солнце“, но его вера требовала делать добрые дела всем живым существам, без изъятия, — ведь в лебедя могла переселиться душа его отца. Он решил освободить прекрасного пленника.

Там, на крутом берегу Волги, развязал брамин дикую птицу, и скоро та в последний раз блеснула в синеве белой серебряной точкой.

А брамин попрежнему стоял над темной водой. О чем он думал?

Как ежегодно привозят верблюды священную воду Ганга?

И как, будто среди молитвенных голосов, совершается обряд свадьбы двух рек, когда из длинногорлого тяжелого кувшина рукой жреца вода Ганга проливается в темные воды Волги — Северной невесты!

Истома его догнал.

— Это что — лебедя освободить! Нет, ты дай свободу всему народу, — сказал он.

Индуc молчал. Он думал, как далекий гуру (учитель) из Индии руководит его разумом здесь. И вдруг, повернувшись, сказал: — Ты увидишь мою родину, — и после повернулся и ушел, залитый лучами солнца, в темно-зеленом халате.

А Истома размышлял, думая о его речах и думая о ползавшем на руке муравье: „Кто этот муравей? воин? полководец? великий учитель своего народа? мудрец?“

А около тихо плескалась Волга — невеста.

На другой день ловцы, справив рыбацкую сбрую и распрощавшись с милым старообрядцем, двинулись в обратный путь.

Дорогой они встречали расположенные в виде узких полозьев челны, на которых высился громадный вон хвороста; видели бударку, в которую, как первобытный парус, была воткнута густая зеленая береза. И в егер вез лодку с ее зеленым парусом. Бабы-птицы поодаль тянули свою тоню, и в их огромных клювах-мешках бились еще живые рыбы. Видели охотника, надевшего тыкву на голову и хватавшего за ноги живых уток.

Когда стемнело, вышли на берег вечерять и разложили костры.

Долго за полночь шла беседа про страшную „чуму сетей“, когда вдруг на огромном расстоянии в одни сутки гибнут все сети, захворавшие болезнью сетей, особой водорослью; про страшные сны, когда не человек жарит осетров, а осетр раскладывает

костер и жарит пойманного человека. Небо Лебедии сияло своими зеленоватыми звездами; Волга журча вливалась в море тысячью мелких ручьев. Черни были охвачены тишиной и сном. Просыпаясь утром, Истома с удивлением заметил странные кусты около лодки.

Вдруг кусты зашевелились, и голые, покрытые маслом, люди, сбрасывая с себя ветки, бросились к ним. „Есир“— невольник и раб,— пронесся в воздухе несколько раз воинственный крик. В то же время лодка была занята другими; они, быстро работая веслами, отплыли от берега. Истома был оглушен сильным ударом кулака. Он помнил над собой лицо, лишенное, как ему показалось, носа, плоское как доска.

Когда Истома очнулся, он был связан по рукам и ногам и окружен вооруженными степными всадниками, составившими совет.

Среди горок камней, золы и человеческих костей был расположен степной аул. Древние зеленые изразцы лежали среди песка и пепла сожженных на костре человеческих костей. Редкие травы трепетали широкими кистями, да одинокий жаворонок резвой рысью бежал по песчаным волнам пустыни.

Вот он остановился и сел на синем обломке кувшина. Здесь была Золотая Орда, и лишь обломки башни темносинего полива да старинный камень с татарскими письменами напоминали об этом.

Да змея бесшумно скользила около надписи: „Нет бога кроме бога“, а черноволосая девушка этих мест ходила с медной деньгой, вплетенной

в косу. И надпись древнего хана: „Я был — мое имя высоко“ — тонуло в черном шелку ее кос.

Вот она зажгла костер и села на землю, раздумывая про Сюмер-Улу, срединную гору мира, где сходятся души мертвых предков пить молоко кобылиц.

Старый калмык пил бозо — черную водку калмыков.

Вот он совершил возлияние богу степей и пролил жертвенную воду в священную чашу.

— Пусть меня милует Чингиз богдо-хан, — важно проговорил он, опустив голову.

Великий Чингиз казался ему беспечным богом войны, надевшим как-то раз на плечи одеяние человеческой судьбы. Любимец степной песни, он и до сих пор живет в степи, и слова славы ему сливаются со степным ветром.

Первую чашку он плеснул в огонь, вторую в небо, третью на порог. И бог пламени Окын-Тенгри принял жертву. Тысяча рук окружала его. Окруженный заревом, он выскочил из пламени, и с невыносимым для смертного уха звуком залязгали, застучали и запрыгали одна о другую его красные челюсти, а белые мертвые глаза страшно уставились на смертного. Зарево тысячи рук окружило его. Словно черным парусом белое море, свирепые зрачки косо пересекали глаза. Страшные белые глаза подымались к бровям головы мертвого, повешенной за косу. Удар ветра, и он исчез, и вновь из костра выступил черный котел, сменив багрового духа.

Коку, его дочь, подошла к нему.

Ее косы, завернутые в шелковые чехлы, падали ей на грудь.

Вот она повернула голову, и вся миловидность Китая сказалась на темном лице; сквозь черный загар выступала степная алая кровь, живые глаза сверкали, как два черных месяца, умом и радостью. Малиновая, шитая золотом, шапочка была у ней на голове.

Она помнила, что девушка должна быть чистой как рыба чешуя и тихой как степной дым, и бесшумно села на землю в своих черных шароварах.

И снова лицо ее, как пламенеющий уголь, склонилось над землей.

А калмык грезил.

Он мысленно садится на коня, на аршин быстрее мысли, и скачет в великой охоте Чингиза; в ней участвовали все покоренные Чингизом народы, и почти вся средняя Азия была охвачена кольцом великой облавы. Здесь несется ветроногий табун диких коней, там падает вилорогий первобытный бык, а здесь тетива лука вышиной с человеческий рост посылает стрелу в курчавого красного теленка. Полунагие наездницы с дикими криками проносятся по степи, и там и здесь звенят тетивы.

Старый калмык выпил еще чашку бозо, когда всадник с орлом на руке подъехал к нему. Он сообщил про приближающегося киргиза с невольником, и они вдвоем выехали к нему навстречу. Коня бодро переехали небольшую речку.

Утренние голые люди, обмазанные для борьбы жиром тюленя, были теперь одеты и громко обсу-

ждали что-то. На Истому надели мешок для муки, сделав дыры для рук и головы, и, посадив его на седло и связав ноги, все поскакали в кочевье.

Там к нему подошел старик и коротко сказал: „Моя Есир“. Истома знал всё страшное значение этого слова. Вихорь и огонь удара плети перевели слово.

Вечером они двинулись в путь.

Киргиз нараспев пел Кудашку-Билик. Истома бежал за Ахметом. В белой войлочной шляпе, в разноцветном халате Ахмет покачивался на седле и помахивал плетью, забыв, казалось, про пленника.

Степной паук бежал легкой рысью. Истома со связанными руками бежал сзади.

От частых, похожих на песню беса, ударов хвоста глаза почти ослепли и ничего не видели. Полотно рубашки лопнуло и разорвалось, спустившись на связанные руки и шею. Слепни и оводы, густо усевшись на теле, зеленой сеткой своих жадных зеленых глаз покрывали плечи. Другие тучей вились около. Тело распухло от укусов, жары и зноя. Ноги были в запекшейся крови. От штанов осталась рваная полоса.

Когда они доехали до орды, стая черномазых детей окружила его, но киргиз поднял плеть. Что-то вроде жалости показалось на медном лице. Покачал головой и ослабил веревки; дал молока и первый раз сказал: „ашай“. Добрая старуха протянула ему черпак воды, и он выпил как дар неба. Здесь Ахмет за 13 рублей продал своего невольника. Новый купец был много добрее. С этого времени

жить стало лучше. Его повели купаться. Дали кумачевую рубашку. „Якши Русь“, — сказал Ахмет, любуясь им. Три дня он отдыхал в духане.

Старик-горец беседовал с ним и делил с ним свой кусок сыра, лечил его ноги.

Когда он сидел на земле в своей широкой бурке, а стриженный череп подымался над буркой, как горный ястреб, Истоме делалось легче. Ему казалось, что рядом такой же невольник, как и он.

Скоро их догнал большой караван рабов, где были грузины, шведы, татары, русские, один англичанин. Тогда из русских невольников набиралась личная охрана отборных полков, как китайского богдыхана, так и турецкого султана, и великого могола в Индии. Скоро караван снова двинулся, и верблюды забряцали бубенчиками.

Дорога шла голой песчаной степью, где только жаворонки и ящерицы бегали среди кустов, да изредка подымался огненноокий, издали похожий на волка, степной филин и с трудом уносил схваченного могучей лапой зайченка. Истома шагал за своим верблюдом по белым солончакам и бесконечному песку. В одном караване с ним была только Ядвига. У ней были длинные золотистые волосы, а в голубых глазах вечно смеялась и дразнила русалка — ресниц голубая русалка.

Для нее между горбами верблюда, похожими на песчаные холмы, покрытые кустами ковыля, был сделан особый шатер. С ног до головы она была одета в белое покрывало.

— Як на море! совсем як на море! — восклицала она иногда и высовывала из шатра ручку.

Иногда она расспрашивала про пашу: — „Вин какой? чи он седой? чи он грозный?“

И задумывалась.

И когда венок обвил ее голову, она вдруг сделалась хорошенькой русалкой, зачем-то сидевшей на верблюде.

Синеглазая, златоволосая, закутанная в складки полупрозрачного полотна.

Думает ли она о празднике Ярилы или о празднике Весенней Ляли? Но вот большая бабочка, увлекаемая ветром, ударилась ей о щеку, и ей кажется, что это она стучится в окошко родимого дома, бьется о морщинистое лицо матери. „Вот такой же бабочкой прилечу и я“ — шепчет она.

Между тем показались горы, и у их подножья остановились на ночь.

Отсюда они двинулись на буйволах. Эти — могучие быки, с вытянутыми вдоль затылка широкими рогами, с черно-синими глазами, где вечно светится пламя вражды к людям.

Если на гладкой, лишенной волоса, коже там и здесь торчали редкие волоски, то лишь для того, чтобы плотнее пристала к телу рубашка степной черной грязи; с нею буйволы не расставались, спасаясь от своих мучителей — тучи оводов. Первая глиняная рубашка — ее буйволы стали носить раньше человека. Более всего они любили воду и, раз увидев ее, бросались в нее так, что были видны лишь ноздри и глаза. Так они были способны проводить целые сутки.

На черном хребте одного из них в белой рубашке персианки и в шароварах сидела Ядвига и уж бес-

печно плела венки и гадала, отрывая лепестки: „чи любит, чи нет?“ Дорога шла горами. Как глаз бога иногда сверкал над пустынными хребтами снежный утес, а иногда с высот виден был синий шар моря, какой-то небесный в своей синеве, и на нем косо скользил одинокий парус.

Мансур обращался ласково, много шутил и часто подходил поправить покрывало. „Аллах велик, — говорил он Истома: — хочет — я тебя купил, и я твой господин, а захочет — и я тебе целуй-целуй руку“. В Испании караван разделился, и больше Истома не видел Ядвиги.

С большими остановками, почти через год, Истома попал в Индию.

Его проводник Кунби был сикхом; и нужно ли удивляться, что однажды Истома обратился к учителю и сказал: „Я тоже сикх“.

Кунби радостно встретил новообращенного. Нужно ли удивляться, что однажды Истома и Кунби вместе бежали?

Кунби научил его спокойно выжидать в чаще тростников, когда мимо мчался, топчя рощу, посланный вдогонку слон; спать на широких ветках деревьев, где только-что пробежала кривляясь обезьяна. И скоро, как два заклинателя змей, они начали скитальческую жизнь; сонная гремучая змея спала у них в выдолбленной тыкве, в соломенной корзине; белые ручные мыши, наученные прятаться, жили в грецком орехе.

Он научился понимать сложенный из сосновых игол муравейник, когда увидел жилые горы храмов и видел медные кумиры Будды много раз больше

размеров человека. Раз он увидел в пещере, в лесу, нагого отшельника; борода падала к его ногам. Уже несколько лет старик держал в руках сухой хлеб, и теперь насквозь хлеба прошли длинные извилистые ногти. Старик не менял своего положения, руки его не умели двигаться, и ногти прорастали предметы, как корни растения, белые и кривые. Был страшен его вид. Не весь ли народ индусов перед ним? — думал Истома. И теньевые боги трепетали около него темными крыльями ночных бабочек. Мудрец мечтает уйти из области людей и всюду вытравить свой след, чтобы ни люди ни боги не сумели его найти.

Исчезнуть, исчезнуть. Подобно своим учителям, он должен победить в себе гордое желание стать богом. И если кто-нибудь изумленный назовет его богом, мудрец сурово воскликнет: „клевета!“

Беги обрядов, ведь ты не четвероног, у тебя нет копыт. Будь сам, самим собой, через самого себя, углубляйся в самого себя, озаряемый умным светом. На высоте, куда посмеет взлететь не каждый стриж, видел воздушные храмы, висевшие ласточкой над грозной пропастью. Синее море билось у подножия пропасти. Как глаз увенчивает собой тело, так же спокойно этот труд человека заканчивал дело природы, просто и строго подымаясь на недоступном утесе.

Видел храмы, множеством подземных пещер вырубленные в глубине первобытной каменной породы. Сумрак вечно царил там: местами однозвучно звенели ручьи. Пышно одетые кумиры, вытесанные из камня, толпою теснились вдоль стен и спокойной,

равной ко всему, улыбкою встречали путника по подземному храму, покрытые ручьями влаги.

Видел темные толпы слонов, вырубленных из каменной породы, поднявших свои бивни, провожая богомольца по бесконечной лестнице, ведущей на вершину отвесного утеса.

Там и здесь на выступах зданий сидели белоснежные павлины, любимые людьми, но нелюдиные. Насельники запустевших храмов — стая диких обезьян встречала их недовольным лаем тысячи оттенков и градом брошенных орехов.

Хоботы каменных слонов тянулись вдоль дороги. Храмы, стыдливо прячущиеся за кружевом своих стен, и храмы, несущие свою веру на вершину недоступного горного утеса, чуть ли не за облака, храмы, похожие в своем стремлении кверху на стройную женщину гор, несущую на плече кувшин воды, и храмы, стены которых сделаны синевой реки и белизной облаков, строгие лестницы вглубь неба и вглубь подземного мира, — все они напоминали что...

В глубине лесных пещер пустынники, неподвижно протянувшие свои руки к небу, давшие обет не шевелиться. Пространство между ними было давно уже заткано паутиной паука. Мыши безбоязненно пробежали по их ногам, а птицы садились на седую взлохмаченную голову. Послушники кормили старцев.

И рядом поклонники мрачной богини Кали. Шелковой петлей в беззвучной глубине черных рощ, около толстых и гладких стволов, они ловили своих жертв и неслышным поворотом рычага ломали позвонки шеи в честь таинственной богини Смерти.

И рядом веры, не знающие храмов, потому что лучшая книга — белые страницы — книга природы, среди облаков, а путь рождения — смерть, лучшая молитва. Видел у ворот храма святого; он с отвращением, точно горькое лекарство, пил воду из кружки для милостыни, одетый в одежды, снятые с чумного покойника, трупов. Он говорил: „Нужно плакать, когда мы рождаемся, и смеяться, когда мы умираем“. Он снова закутался в свой плащ, снятый с усопших. Около храмов видел бесноватых; с неслыханной силой они разрывали на себе веревки и пытались убежать в лес.

Каждое утро на заре Истома видел молящегося брамина; он стоял на одной ноге, приставив другую к лодыжке, и, повернутый на восток, широко открытыми руками, казалось, обнимал небо. Его черное тело застыло; руки расходились точно ветки стройного дерева. Он шептал, беззвучно шевеля губами: „Тат Савитар варениям бхарго дхимахи дхио но нах пракодайтат девазия“.

„Станем думать о солнечном боге, он взошел осветить наши разумы“.

В то же время крик проснувшегося павлина покрыл пожаром тихую молитву, и зелено-синие звезды на перьях птицы походили на темносиние глаза неба сквозь древесную листву.

Зеленые сады над развалинами старых храмов, ветки и корни деревьев, впившиеся в белый камень лестницы, походили на учение браминов: всё суета, всё обман. Не так ли хорошенькую рассеянную головку пишет рука на старой книге в тяжелом переплете?

И то, что ты можешь увидеть глазом, и то, что ты можешь услышать своим ухом,— всё это мировой призрак, Майя, а мировую истину не дано ни увидеть смертными глазами, ни услышать смертным слухом.

Она — мировая душа, Брахма.

Она плотно закрыла свое лицо покрывалом мечты, серебристой тканью обмана. И лишь покрывало истины, а не ее самоё, дано видеть бедному разуму людей. Исканием истины казалась эта страна Истоме, исканием и отчаянием, когда из души индуса вырвался стон: „всё — Майя!“ Он хорошо помнил, как он шел в зеленой роще, и вдруг шум крыл нарушил тишину, и на белый столб покрытого зеленью храма взлетел павлин, и ветер белоснежных перьев, поток малых и больших глаз, небом звезд покрывавших серебряное тело, круто падая вниз вьюгой седых морозных звезд, холодных глаз, казались ему собранием глаз великих и малых богов эти страны.

Пять лет провел Истома в Индии. Он был на Яве и видел славные храмы и улыбающегося Будду из меди во столько раз большего человека, во сколько раз человек больше муравья, и темные громады каменных слонов под водопадом. Когда его сильно потянуло на родину, он вернулся вместе с одним караваном, посетил свой остров, но ничего не нашел, кроме сломанного весла, которым когда-то правил.

Грустно постояв над знакомыми волнами, Истома двинулся дальше.

Куда? — он сам не знал.

ОКТЯБРЬ НА НЕБЕ

Ранней весной 1917 г. я и Петников садились на московский поезд.

Только мы, свернув ваши три года войны в один завиток грозной трубы, поем и кричим, поем и кричим, пьяные дерзостью той истины, что Правительство Земного Шара уже существует. Оно — Мы.

Только мы нацепили на свои лбы неувядаемые венки Председателей Земного Шара, неумолимые в своей загорелой дерзости, мы, обжигатели сырых глин человечества в кувшины времени, балакири, и мы зачинатели охоты за душами людей... — Какие наглецы! — скажут некоторые. — Нет, они святые! — возразят другие. Но мы улыбнемся и покажем рукой на солнце: Поволоките его на веревке для собак, судите его вашим судом судомоек — если хотите, за то, что оно вложило эти слова и дало эти гневные взоры. Виновник — оно.

Правительство Земного Шара — такие-то.

Этим воззванием был начат поэтический год, и с ним в руках два самозванных Председателя Земного Шара вечером садились на поезд Харьков-Москва, полные лучших надежд.

Нашей задачей в Петрограде было удлинить список Председателей, открыв род охоты за подписями, и скоро в список вошли очень хорошо отнесшиеся члены китайского посольства Тинь-Эли и Янь-Юй-Кай, молодой абиссинец Али-Серар; писатели Евреинов, Зенкевич, Маяковский, Бурлюк, Кузмин, Каменский, Асеев; художники: Малевич, Куфтин, Брик, Пастернак, Спасский, Зигмунд; летчики Богородский, Г. Кузмин, Михайлов, Муромцев,

Зигмунд, Прокофьев; американцы — Крауфорд, Виллер и Девис, Синякова и многие др.

На празднике искусств 25 мая знамя Председателей Земного Шара, впервые поднятое рукой человека, развивалось на передовом грузовике.

Мы далеко обогнали шестые. Так на болотистой почве Невы было впервые водружено знамя Председателей Земного Шара.

В однодневной газете „Заем Свободы“, Правительство Земного Шара обнародовало стихи:

Вчера я молвил: гулля, гулля!
И войны прилетали и клевали
Из рук моих зерно.

Это было сумасшедшее лето, когда после долгой неволи в запасном пехотном полку, отгороженном забором из колючей проволоки от остальных людей, по ночам мы толпились у ограды и через кладбище — через огни города мертвых — смотрели на дальние огни города живых, далекий Саратов. Я испытывал настоящий голод пространства и на поездах, увешанных людьми, изменившими Войне, прославлявшими мир, весну и ее дары, я проехал два раза, туда и обратно, путь Харьков-Киев-Петроград. Зачем? — я сам не знаю.

Весну я встретил на вершине цветущей черемухи, на самой верхушке дерева, около Харькова. Между двумя парами глаз была протянута занавеска цветов. Каждое движение веток осыпало меня цветами. Позже звездное небо одной ночи я наблюдал с высоты крыши несущегося поезда; подумав немного, я беспечно заснул, завернувшись в серый плащ

саратовского пехотинца. На этот раз мы, жители верхней палубы, были усеяны черной черемухой паровозного дыма, и когда поезд остановился почему-то в пустом поле, все бросились к реке мыться, а вместо полотенца срывали листья деревьев Украины.

— Ну, какой теперь Петроград? Теперь — Ветроград! — шутили в поезде, когда осенью вернулись к Неве.

Я основался в селе Смоленском, где по ночам на таинственных поездах с погашенными огнями ездили ходи, шатры вооруженных цыган были раскинуты в болотистом поле, и вечно сиял огнями дом сумасшедших. Мой спутник, Петровский, большой знаток привидений, обратил мое внимание на одно деревцо — черную настороженную березку, стоявшую за забором.

Оно чутко трепетало листьями от малейшего ветра. На золотистом закате каждый черный листок дерева выделялся особенно зловеще. Оно, такое, какое оно есть, настойчиво приходило к нему во сне каждую ночь. Петровский начал относиться к нему с суеверным вниманием. Позднее он открыл, что береза растет над мертвецкой, где хранились до вскрытия тела убитых. Это было уже в самый разгар событий. Мы жили у рабочего Морева и у него, как и у многих жителей окраины, в это время хранились куски свинца, для отлива пуль: „так, на всякий случай“.

.
.

Под грозные раскаты в Царском Селе прошел день рождения. Когда по ночам, возвращаясь домой,

я проходил мимо города сумасшедших, я всегда вспоминал виденного во время службы безумного рядового Лысенка и его быстрый шопот: „Правда е, правда не, правда есть. Правда не...“ Все быстрее и быстрее делался его учащенный шопот, тише и тише; безумный прятался под одеяло, уходил в него с подбородком, скрываясь от кого-то, сверкая только глазами, но продолжая сверкать нечеловечески быстро. Потом он медленно подымался и садился на постель: по мере того, как он подымался, шопот его становился все быстрее, громче; он застывал на корточках с круглыми, как у ястреба, глазами, желтея ими, и вдруг выпрямлялся во весь рост и, потрясая свою кровать, звал Правду бешеным, разносившимся по всему зданию голосом, от которого дрожали окна: „Где Правда? Приведите сюда Правду, подайте Правду!“ Потом он садился, с длинными жесткими усами и круглыми глазами желтого цвета, тушил искры пожара, которого не было, и ловил их руками. Тогда сбегались служители. Это были записки из Мертвого поля, зарницы отдаленного поля смерти — на рубеже столетий.

Силач—он походил на пророка на больничной койке. В Петрограде мы вместе встречались. Я, Петников, Петровский, Лурье, иногда забегал Ивнев и другие председатели.

— Слушайте, друзья мои. Вот что: мы ошибались, когда нам казалось, что у чудовища войны остался только один глаз и что нужно только обуглить бревно, отточить его и общими силами ослепить войну; а пока прятаться в руне овец.

— Прав ли я, когда говорю так? Правду ли я говорю?

— Правильно, — был ответ.

Было решено ослепить войну.

Правительство Земного Шара выпустило короткий листок, подписи: Председатели Земного Шара на белом листе, больше ничего.

Это был его первый шаг.

„Мертвые, идите к нам и вмешайтесь в битву. Живые устали, — гремел чей-то голос:— Пусть в одной сече смешаются живые и мертвые. Мертвые, встаньте из могил“.

В эти дни странной гордостью звучало слово „большевичка“, и скоро стало ясно, что сумерки „сегодня“ скоро будут прорезаны выстрелами.

Дмитрий Петровский, в черной громадной папаше, с исхудалым прозрачным лицом, улыбался загадочно: — Чуешь? — Шо воно дияться. Ни як в толк не возьму? — говорил он и загадочно набивал трубку с тем видом, который ясно говорил, что дальше не то еще будет.

Он был настроен зловеще.

Кто-то из трех должен был пойти в Зимний дворец и дать пощечину Керенскому.

Я слышал о нем удивленный отзыв: „Всего девять месяцев пробыл, а так вкоренился, что пришлось ядрами выбивать“. Чего он ждет? Есть ли человек, которому он не был бы смешон и жалок?

В Маринском дворце заседало Временное Правительство, и однажды туда послано было письмо: „Здесь. Маринский дворец. Временное Правительство. Всем! Всем! Всем! Правительство Земного

Шара на заседании своем от 22 октября постановило: 1) Считать Временное Правительство временно несуществующим, а главнонасекомствующую А. Ф. Керенскую — находящейся под строгим арестом.

„Как тяжело пожатье каменной десницы. Председатели Земного Шара: Петников, Лурье, Дм. и П. Петровские, статуя Командора — я (Хлебников)“.

Другой раз послали такое письмо: „Здесь. Зимний дворец. Александре Федоровне Керенской. Всем. Всем. Всем... Как? Вы еще не знаете, что Правительство Земного Шара уже существует? Ах так, вы не знаете, что оно существует! Правительство Земного Шара. Подписи“.

Однажды мы собрались вместе в академии (художеств) и, сгорая от нетерпения, решили звонить в Зимний дворец.

— Зимний дворец? — Будьте добры, соедините с Зимним дворцом.

— Зимний дворец? — Это артель ломовых извозчиков.

— Что угодно? — холодный, вежливый, но невеселый вопрос. Ответ: — Союз ломовых извозчиков просит сообщить, как скоро собираются выехать жильцы из Зимнего дворца.

— Что, что? — вопрос.

Ответ: — Выедут насельники Зимнего дворца?... К их услугам.

— А больше ничего? — слышится кислая улыбка.
— Ничего.

Там слышат, как здесь хохочут у другого конца проволоки я и Петников.

Из соседней комнаты выглядывает чье-то растерянное лицо.

Через два дня заговорили пушки.

Как-то в Мариинском ставили Дон-Жуана, и почему-то в Дон-Жуане видели Керенского. Я помню, как в противоположном ярусе лож люди вздрогнули и насторожились, когда кто-то из нас (я) наклонил голову, кивая в знак согласия Дон-Жуану раньше, чем это успел сделать командор (около занавеси)... „Аврора“ молчаливо стояла на Неве против дворца, и длинная пушка, наведенная на него, походила на чугунный неподвижный взгляд — взор морского чудовища.

Про Керенского рассказывали, что он бежал в одежде сестры милосердия и что его храбро защищали воинственные девицы Петрограда, его последняя охрана. (Удалось напророчить, называя его ранее Александрой Федоровной).

Невский всё время был оживлен, полон толпы, и на нем не раздавалось ни одного выстрела.

У разведенных мостов горели костры, охраняемые сторожами в огромных тулупах; в козлы были составлены ружья, и беззвучно проходили черные густые ряды моряков, неразличимых ночью; только видно было, как колебались ластовицы. Утром узнавали, как одно за другим брались военные училища. Но население столицы было вне этой борьбы.

Совсем не так было в Москве, где я опять нашел скитавшегося Петровского: мы выдержали недельную осаду. Ночевали, сидя за столом, положив головы на руки, на Казанском. Днем попа-

дали под обстрел на Трубной и на Мясницкой. Другие части города были совсем оцеплены. Всё же, несколько раз остановленный и обысканный, я однажды прошел по Садовой всю Москву поздней ночью.

Глубокая тьма изредка освещалась проезжавшими броневиками, время от времени слышались выстрелы — и вот перемирие заключено. Вырвались пушки. Молчат.

Мы бросились в голоде улиц, походя на детей, радующихся снегу, смотреть на морозные звезды простреленных окон, на снежные цветы мелких трещин, кругом следы пуль, скрюченных, точно тела сгоревших на пожаре бабочек, осколков шрапнели.

Видели черные раны дымящихся стен.

В одной лавке видели прекрасную серую кошку; через толстое стекло она, мяукая, здоровалась с людьми, заклиная выпустить: долго же она пробыла в одиночном заключении!

Мы хотели всему дать имена. Несмотря на чугунную ругань, брошенную в город Воробьевыми горами, город был цел.

Я особенно любил Замоскворечье и четыре заводские трубы, точно свечи твердой рукой зажженные здесь, чугунный мост и воронье на льду. Но над всем золотым куполом господствует, выходящий из громадной руки, светильник четырех заводских труб; железная лестница вдоль полых башен ведет на вершину их; по ней иногда подымается человек — священник, свечой перед лицом из седой заводской копоти. Кто он, это лицо? Друг или враг? Дымо-

писанный лоб, висящий над городом? Обвитый
бородой облаков?

И не новым ли черноокая Гуриэт Эль Айн по-
свящает свои шелковистые, чудные волосы, тому
пламени, на котором будет сожжена, проповедуя
равенство и равноправие?

Мы еще не знаем, мы только смотрим. Но эти
новые свечи неведомому владыке господствуют над
старым храмом.

Здесь же я впервые перелистал страницу книги
мертвых, когда видел вереницу родных у садика
Ломоносова в длинной очереди и целую улицу,
толпившихся у входа в хранилище мертвых.

Первая заглавная буква новых дней свободы так
часто пишется чернилами смерти.

Никто не будет отрицать того, что я ношу на моем мизинце ваш Земной Шар.

Так как я человек мирный, то я предаюсь переделке крылатого слова: „секим башка“ в не менее крылатое: „секим усы“ и холодно созерцаю голосование пушечными выстрелами и подачу избирательных записок посредством направленного в небо ружейного боя. В небо трудно промахнуться, и оно хороший сосуд для сбора записок. Это борются казаки и „нехорошие люди“ — большаки. Я думаю о страшном проломе крепости, когда с нападавшей стороны было выведено из строя только два человека, а сонные осаждаемые, воскликнув: „Ванька, там пуляют!“ — новый военный клич — схватились за ружья и успешно отразили ночное нападение].

[Но всё же один мертвец получил рану в щеку, пока колесница смерти — простой сгорбленный извозчик с белым знаменем, с положенным поперек дрожек гробом, — перевозила его, недавно смеявшегося среди нас, в город мертвых].

„Птиу!“ — поют над вами пули, когда вы выглядываете из дверей. Мелькают юноши с белыми повязками на руке, в красных дубленых полушубках, с желтой полосой на штанах, и их лица оживляют пустынные улицы, выглядывая из-под ворот. А один врач четверть часа просидел на снегу обстрелянный из-за забора, после того как он неудачно зажег

спичку и окликнул: „кто тут?“. Он простудился. Воинственный священник с желтой полоской подвига в петлице носился по улицам и, высокий и русый, сжимал в руках огнестрельное оружие.

[Это была игра, забава людей из окопов, облако войны, принесенное ими сюда, — я знал, что один черкес, поссорившись и выскакивая из духана, оставляет больше трупов, чем эта дневная война. Впрочем, здесь же два соперника делили шкуру медведя, и два воина плясали над трупом обывателя]. Я знал, что они скоро помирятся. Тем более, что в большие белые стены города стучала третья гостья — чума. „Разрешите войти!“ — уже в третий раз раздавался ее голос. Впрочем, вам достаточно есть мясо сусликов, чтобы не заболеть ею. Татары, большевики и часть пленных засели в крепости и два собора — русский и армянский — получили на колокольню черное гнездо пулеметов. По ночам они обменивались настойчивыми выстрелами, глухо повторяемыми каменными зеркалами города. Город впал во мрак. Железные пути пожелтели от ржавчины, и гласные думы собирались в здании окружного суда пополоскать клювы в воде думских речей.

Зато ночью город был прекрасен. Мертвая тишина, как в мусульманских селеньях, пустынные улицы и черные яркие зори неба. Я был без освещения после того, как проволока накаливания проплясала свою пляску смерти и тихо умирала у меня на глазах. Я выдумал новое освещение: я взял „Искушение святого Антония“ Флобера и прочитал его всего, зажигая одну страницу и при ее свете прочитывая дру-

гую; множество имен, множество богов мелькнуло в сознании, едва волнуя, задевая одни струны, оставляя в покое другие. и потом все эти веры, почитания, учения земного шара обратились в черный шуршащий пепел. Сделав это, я понял, что я должен был так поступить. Я утонул в едком, белом дыму, [носящемся] над жертвой. Имена, вероисповедания горели как сухой хворост. Волхвы, жрецы, пророки, бесователи — слабый улов в невод слов 1000 [человеческого рода, его волн и размеров], — все были связаны хворостом в руках жестокого жреца.

Меня удивило, что Диана хотела утопать в испарениях и грезах.

Я тихо радовался, что Будда был искусен в исчислении атомов.

И всё это — в дни, когда сумасшедшие грезы шагнули в черту города, когда пахарь и степной всадник дрались из-за мертвого обывателя, и из весеннего устья Волги неслись хохот Пугачева, — стало черным высокопоучительным пеплом третьей черной розы. Имя Иисуса Христа, имя Магомета и Будды трепетало в огне, как руно овцы, принесенной мной в жертву 1918 году. Как гальки в прозрачной волне, перекатывались эти стертые имена людских грез и быта в мерной речи Флора.

Едкий дым стоял вокруг меня. Стало легко и свободно.

Это было 26 января 1918 года.

Я долго старался не замечать этой книги, но она, полная таинственного звука, скромно забралась на стол и, к моему ужасу, долго не сходила с него,

спрятанная другими вещами. Только обратив ее в пепел и вдруг получив внутреннюю свободу, я понял, что это был мой какой-то враг.

Я вспомнил про особые чары вещей, как некоторые вещи дороги и полны говора чего-то близкого нам и потом в свой срок сразу вянут и умирают и делаются пустыми.

Я решил, что они звучат незаметно для разума.

Это так: они полны таинственного звука, вызывающего ответные дрожания в нас самих.

А недавно, за два дня перед этим, я гордился своим черепом человека, сравнивая с ним череп с костянистым гребнем и свирепыми зубами шимпанзе. Я был полон видовой гордости. У вас она есть?

Нужно ли начинать рассказ с детства? Нужно ли вспомнить, что мои люди и мой народ, когда-то ужасавший сухопутный люд парусами и назвавший их турусы на колесах, осмеивая старым забытым искусством каждую чепуху, народ, который Гайявате современности недоверчиво скажет: „турусы на колесах“ и тот поникает седоусый, и снова замолчит— еще раз повод внутренне воскликнуть: „нет друзей мне в этом мире!“ мой народ хитро, как осетр, подплывает к Царьграду в долбленных, снабженных веслами, подводных лодках, и невидимо качавшийся под волнами, в виду узорных многобашенных улиц шумной столицы, чтобы потом, после щучье-разбойничьих подвигов в узком проливе, нырнуть в море частыми ударами весел, внизу гордых парусов напрасно преследующего его турецкого плота, достичь устья Днепра и свободно вздохнуть в Запорожьи, где толпились чайки. Мой народ забыл море и, тщетно порываясь к свободе, забыл, что свобода — дочь моря. Но племя волгоруссов моей земли знало чары великой степи (отдых от люда и им пустота), близость моря и таинственный холод великой реки. Там сложилось мое детство, где море Китая затеряло в великих степях несколько своих брызг, и эти капли — станы, затерянные в чужих степях, медленно узнавали общий быт и общую судьбу со всем русским людом.

Вот вы прожили срок, срок жизни, и сразу почувствовали это, так как многие истины просто

отвалились от вас, как отваливаются черные длинные перья из крыла ворона в свой срок и он сидит один в угрюмой лесной чаще и молча ждет, когда вырастут новые.

Да, я прожил какой-то путь и теперь озираю себя: мне кажется, что прожитые мною дни — мои перья, в которых я буду летать, такой или иной всю мою жизнь. Я определился. Я закончен. Но где же то озеро, где бы я увидел себя? Нагнулся в его глубину золотистым или темносиним глазом и понял: я тот. Клянусь, что, кроме памяти, у меня нет озера, озера — зеркала, к которому неловкими прыжками пробирается ворон, когда всё вдруг тихо, и вдруг замолчавшие лесные деревья и неловкий поворот клюва — всё сливается в один звук, звук тайны сумрачного бора. А ворон хочет зеркала: его встречают деревья, как лебедя.

Но и память — великий Мин, и вы, глубокие минровы. Вы когда-то теснились в моем сознании, походя на мятежников, ворвавшихся на площадь: вы опрокинули игравшую в чет и нечет стражу и просили бессмертия у моих чернил и моего дара. Я вам отказал. Теперь сколько вас, образов прошлого, явится на мой призыв? Так князь, начиная войну не во-время, не знает, велико ли будет его войско, и смутно играет, гадая о будущем, и готовит коня для бегства. Здесь его голос начал звенеть, и я подумал: но ведь это я, но в другом виде, это второй я — этот монгольский мальчик, задумавшийся о судьбах своего народа. А вырезанные из дерева слоны смотрели с ворот хурула. Тогда у меня было поручение достать монгольских кумиров, но я его позорно не выполнил.

Я помню себя очень маленьким, во время детского спора: смогу ли я перелезть через балясину? Я перелезаю и вызываю похвалу старшего брата. Прикосновение телом к балясине до сих пор не исчезло из памяти. Но вот другой конец страны: старый сад, столетние яворы, гора обломков камней, поросшая деревьями — сгоревший во время восстания дворец польского пана; во время этой зари жизни мы были мудрецами, и проводить день в теплой речке было законом этих дней. Там ловились лини и щуки во столько раз меньше вершка, во сколько мы были меньше взрослого человека, и самым ярким местом этих лет была весенняя охота на осетров величиною с иголку, подплывавших к берегу; но наша сетка двух рыболовов не помогла: они ускользали стрелой и опять показывались, замирая своим чешуйчатым туловищем. Два рыболова были взволнованы и озабочены — рама с сеткой для комаров была в их руках.

Здесь мне пришлось отведать хвост бобра — известное лакомство. Покрытый землей, с черной засохшей кровью, он был принесен, и под яблонями, бывшими тогда в цвету, хвост его, покрытый чешуйкой и редкими волосами, был изжарен. Ничего особенного. Я любил мясо серых коз, таких прекрасных и жалких с черными замороженными глазами. И помню охоты: дорога в лесу, табор саней, верховые, волчьи следы в поле; взрослые исчезли, снежноусый пан-поляк торопится догнать других. Раз к порогу нашего дома подъехала тедега, полная до верху телами молодых вепрей. Раз привезли молодую собаку с распоротым брюхом. О, эти четве-

роногие люди лесов с желтодымными косыми отрезанными бивнями. Как они мстили своим двуногим братьям за их ловкую пулю в темном зимнем сумраке! Один косо́й бивень долго лежал у отца на письменном столе...

Вечерняя таинственная ловля бабочек, когда вечер делался храмом: цветы обратились к заре, как жрицы в белын[и] тонких рубашек, запах жертв, и, как молитва, неся, свистя полетом, бражник. Тогда, когда мы робко подкрадывались вытянуть руку к бабочке, тогда как, слышу, сверху трепетала зарница. Закрывались окна. Ждали грозу. Годы ученичества на далекой Волге и новые удары молодой крови в мир...

МАЛИНОВАЯ ШАШКА

Над страной прокатилось несколько волн. Прошла та волна, когда железнодорожников и скромных учителей заставляли учить наизусть: „Коте мой сирий, коте мой белый, коте волохатый“ и те не знали, что им делать и слезы веселого хохота скатывались на седые усы; прошла и та пора, когда немцы, уходя, дали напоследки грозный выстрел из пушки в зеркало воды, и водяное дерево увлекая за собой тучу мертвых рыб, вдруг взвилось кверху, дыханием кита, сразу обезрыбив пространство речки, а на дорогах неубранными лежали мертвецы с беспомощно запрокинутой кверху рукой, расстрелянные неизвестно кем и когда.

Теперь было время советской волны.

Торговки сиротливо стояли над корзинами хлеба, молодые лавочники таинственно проникали в глубину вашей души в поисках за созвучными струнами и иногда, подсовывая товар, частили: „Знаете, это, кажется, в последний раз. Я слышал, завтра будет приказ“.

Дул ветер Москвы. Суровый всадник голодающего севера, казалось, с какой-то неохотой вступал в завоеванный край, точно в самом начале встретил женщину с ведрами, или заяц с странной храбростью перебежал дорогу. Парус Оки высоко стоял над Украиной, и надпись: „я страшен“ зияла на нем. Бежавшие из Москвы, как из зачумленного города, люди, каким-то сплавом бога и чорта захватившие

места в поезде, и много раз по дороге услышав грустную просьбу от стариков: „поклонитесь от нас белому хлебу“, точно не надеялись старые седые люди когда-нибудь увидеть его опять, — эти люди с ужасом видели за собой догонявший их призрак Москвы, точно желтые зубы коня низко наклонялись над ними, срывая цветы. Раем — с пулеметом у входа, чтобы не разбежались, вытянув руки, райские жители, — был север.

Конь гражданской войны, наклоня желтые зубы, рвал и ел траву людей.

Большевицкая волна спадала. Ничто не помогало. Не помогали яркие щегольские лубки на углу улиц — взятия Одессы, с похожими на глупую красную гвоздику взрывами снарядов в белых клубках дыма и Бовой-королевичем, завоевателем приморского города. Не помогал и чертеж советских владений с запоздавшей ниткой, как остановившаяся стрелка часов.

В городе знали: рабочие были против! Эту весть на ухо передавали в переулках, передавали за семейным ужином. Все изменялось. Люди перестали быть людьми. Эта кожа одевала их тело, как крышка часов одевает сложный строй колес и гвоздиков, тела людей были заведенные, жестокие паяцы, готовые взорваться и ответить расстрелом, человекообразные снаряды, жестокие куклы. И вы в глухом переулке, встречая живой глаз, осторожно отводили его, как натянутую проволоку пороховой засады. А иногда за облаками лиц, за облаками глаз вам чудились хитроумные, полные научной тайны чертежи, постройки рока; и слова и дела

были какой-то облачной зарей, харей и личиной на многоугольнике рока.

Было ли это в поле среди нив, в саду или гостях, два человека встречались, как две заведенные куклы, со страшными написанными глазами, куклы с пружинами смерти в груди, не знавшие взорвутся ли они или нет от слов: „дорогой товарищ“, от прикосновения руки: „который час?“. Смерть проволокой опутывала их. Старое благодушие, где ты? И в меру уходившей из-под ног почвы подымалась волна молчаливого разгула и расстрелов за нею. Эти расстрелы каждый день печатались жирной прописью. И вот, воскликнув: „камо бегу от лица твоего?“, вы вдруг бежали из города в глухую усадьбу, в зеленый плодовый сад, где цвели вишни и яблони, ворковала голубка и мяукали иволги.

Но и этот мир горлинок прерывали одинокие выстрелы. В эту уединенную усадьбу упал камень, на два дня возмутивший ее тихие воды. Приехал П. Отворив ворота и подходя к ступенькам усадьбы, он сделал два выстрела: один в небо, другой в землю и поднялся на старое потемневшее крыльцо. Я его когда-то знал.

Белокурые волосы, которые я когда-то знал вьющимися, сейчас по-казацкому были гладко обстрижены под горшок. Голубые глаза смотрели нагло и весело. Губы его узкого, высокого лица твердо и весело усмехались, в крупных зубах было что-то волчье или собачье, лицо, как и раньше, было очень бледным, почти как полотно.

Балясины ограды крыльца были обвиты глухими морскими узлами старой лозы, стягивавшей змеей

мертвое дерево, точеной кругом узора. Толпы колец и лоз подымались кверху от мертвой петли, падая широкими листьями многолетней удавки. Кругом казенных деревьев две ласточки отдыхали в спеленном из соломы и глины гнезде, непрерывно щебеча, вылетая и прилетая, сидя в нем, точно два челнока, вытасенных на морской берег.

Он сел за стол и расставил локти своего красножелтого зипуна, от которого было больно глазам.

— Ну, — произнес он отдуваясь, — вот и я, паны мои! — Он задумался... — Ну, о чем балакать, хлопцы?.. Бачу! — сказал он на тонкие голоса женщин, радостно и хлопотливо пицавшие за дверью, и засмеялся волчьими зубами.

— Да неужели? Да не верю? Да не может быть? — в один голос, точно давая разученную игру, пели и прыгали и визжали сестры; косички их прыгали.

— Спичку, спичку! Маня, дай зеркало, свечу, — порой доносился торопливый шопот.

Вышла старшая сестра, босая, в мещанском красном платочке, с укрощенной улыбкой и лукавой кошачьей походкой, в белом широком парусиновом платье, немного тучная, чуть тяжелая, с красивым, по-русски правильным на расстоянии, лицом.

— Эге! якая ведьма вышла, — важно произнес он вместо привета. Только постоянная игра в ее глазах голубосерых и любовных. Она села близко против него, и искры вылетали из ее золотокарих глаз с черною точкой.

— О чем ты думаешь? — спросила она.

Губы ее дрожали чуть-чуть заметной коварной дрожью, говорили о внутреннем смехе; так кошка, положив лапу на птичку, вся дрожит и бьет хвостом.

— О чем думаю! Да никаких думушек нет. Моя дума вот: я таким уродился, что хочу всё уважать, все, что есть кругом меня. Ну, вот, свинья. Увижу свинью и уважаю ее: толста, здорова, доби-лась своего. В лес иду, потому что уважаю его за деревья; лезу в воду, потому что уважаю реку. Да. Так — так! Я всё уважаю. И хочу, чтобы и меня уважали. Да! — А ну-ка, хлопцы, як живете — оно, может, не очень? Бачу, всех голубков коршун за зиму поклевал. Ничего, добрая детина растет, добрая. А подковы гнешь? А штанов еще нет? Прямо тулуп на голое пузо?

— Бачу не очень, а ничего, добре! — „Хлопец“ широко распахнул голое пузо.

— А бачите, что у меня умерла невеста. — Он строго потупил глаза, точно во время молявы, и сделался мрачным.

— Какая? деревянная или оловянная? — невинно спросил хлопец, — из пряника?

— Да не! Ну что голову морочить, вот приехал к вам, дал 200 верст крюку, а они морочат голову. Совсем заморочили. Невеста и есть невеста.

Вдруг вбежала вторая сестра. Живые черные умные угли-глаза, множество струй недлинных черных волос, рассыпанных по плечам (я видел также эти волосы медно-золотыми — окись водорода), синяя кацавейка, тело оголялось через темносинюю парусину. Живопись, менявшаяся как обеды в хороших

столовых, покрывала это полное жизни лицо. Она подскакивала и клопала в ладоши, обнимая и целуя. — Петя, дусенок! Какая дусочка! Боже мой, какая душечка! Как хорошо, что приехал!

Восклицанья взлетали кверху, как птички во время тока.

— Ой, и весело мне, як соловью в лапах у кошки! — вздохнул он тоскливо, кусая и проглатывая самодовольный смех.

— Ну, скажи, Петро, зачем приехал?

— Да что! Хочется увидеть весь свет, показать себя другим перед смертью.

— Ах, уж умирать собираешься! Так значит к невесте! Да? А муки с собой берешь для невесты — она проголодается.

— Який бабский вечер: все бабы и бабы и лишь один пышный красивый мужчина, девчоночки мои.

— Ты, дружок, начинаешь заговариваться.

— Ох, и извели меня. Совсем свели с ума. Нет, прочь с глаз, окаянные прелестницы!

— Какой красавец, какая душка! — взвизгнули две сестры.

— Идем в сад, дусенька, идем, у нас цветы есть, сама сажала.

— Не хочу, не хочу, да и все! Вот так сяду и буду сидеть до второго потопа да люльку курить. А ну-ка, хлопцы, дайте огня!

Хлопцев было трое, младший — богатырь телом и ребенок сердцем. Большой, старый, глиняный, казалось, похожий сразу и на бабочку и на кувшин, — череп, с какими-то усталыми, изнемогшими, к небу

прямо поднятыми глазами, где застыла мольба и просьбы, неизвестно к кому обращенные, и старушечьими зубами желудевого цвета, лежал сбоку на столе, указывая, что живопись здесь процветала; здесь был приют живописи.

И вдруг, переведя глаза на старшую сестру с ее роскошными, темноглинистыми, падавшими вокруг стана волосами, стало ясно, что она сегодня Магдалина с черепом в лесной пещере и что какая-то нить связывает их. Во всяком случае таково было задание очередной постановки сегодняшнего дня. Белое парусиновое платье, темные роскошные волосы, с дикой негой и простотой падавшие волнисто вниз, и стыдливо-голубые глаза, любовно устремленные на гостя, любовно сложенные губы сочно красного цвета молодой женщины.

— Знаете ли, что значит спичка в глухой заброшенной усадьбе в плодовом саду? Это бог и царь сельских вечеров. Тысячи лиц, сменяя друг друга, со страниц книг переходили на суточный постой на лице одной из сестер. Сестры, как трудолюбивые пчелы, работают и помогают друг другу. Звонкий хохот, прыскающий смех порой прерывают их труд. Тысячи разнообразных милых глазок, как цветы, как однодневные бабочки появляются и исчезают на лице. Лицо делается лугом лиц, где на почве одни цветы сменяют другие и одни души — другие. Сколько сумасшествий от однообразия сельской жизни спасены тобой, закопченою спичкой. Как место в поезде занимается то одним, то другим человеком, так живая человеческая голова становится гостиницей путешествующих лиц.

Тихий самодовольный хохот собравшихся был прерван голосом старшей сестры:

— А ну-ка, иди-ка сюда! Да иди, не кривляйся, родимый, а ну, наклони сюда свою головушку. Крепче! Не кобенься!— вот так! Положи сюда!

Она положила голову на колени и, придерживая ее одной рукою, долго, дрожа красными торжествующими губами, ласкала и гладила ее другой рукою, как ласкают и успокаивают на коленях ленивую и жирную кошку. Потом вдруг диким движением хищной птицы, вдруг проснувшейся ночью совы, схватила череп и положила ему на голову.

— Хо-хо-хо!— захохотал гость. — Хо-хо-хо!— повторил он, схватываясь за живот, вскочил с места и наклонил голову и, — засунув ее в высокий воротник красно-желтого радужного жупана, в дикой пляске, сделавшись огромно высоким, — громадными шагами понесся по крыльцу, выкидывая дикие колена. Это было страшно. Мне показалось — сама смерть, темнея громадными глазами, носится по крыльцу и делает слепые прыжки, и, казалось, удивленная тем, что с ней происходит, делала громадные шаги, становясь похожей на летучую мышь днем. Он грузно опустился на скамью.

— Хо-хо-хо! Ох, уморили детину!

Серебряная шашка лежала с ним рядом на столе; на прекрасном боевом железе была вырезана золотая надпись и его имя. Серебряная полоса, кто был твой первый господин, и как он умер? И купаясь в облаках, падая в воздушные ухабы, скользя по серебряным проходам среди облаков, откуда в самом конце облачной глуби, слепой норы — каплями

прекрасного голубого огня брызгало небо, о ком на далекой земле ты думал тогда, летая крылатой птицей? И были у нее черные глаза, пара черных щитов на них, или голубые в шелковых божественных ресницах, светящимся огнем, полным неги, горели они изнутри и любовно и с гордостью смотрели на тебя — повелителя небесной синевы, и голубое девичье пламя, ясным светом открыв весеннее окно, горело у ней в глазах.

— Полк подарил, — сказал гость и тронул шашку. Сам зарубил гада! — похвалился он после. — Да, были дела.

Трое хлопцев присоседились к оружию, отколовшись от старших. Правда, не во всякую дверь мог бы пройти младший.

— Вот поеду на Карпаты — там галичане, забуду в чистом воздухе гадкий порошок кацапов — ой и дурной же, в Москве все извозчики, клюя носом по вечерам, закладывают им ноздри и одобряют и возносятся на небо, забыв про овес и конный двор. „От него душа веселится и уходит на небо“. А там ведьмочки-панночки. Ну, найду добрую дивчину, вот як ты али ты, голубую снегуру с большими глазами и пушу корни в землю. Пора, довольно перекаати-поле. И время. Довольно. Побачил всего. Старшая сестра положила на темный шелк своих волос темный умный череп. Две головы за гранью времен стояли в каком-то зеркальном отражении — одна над другой.

— Ну теперь, барышня-смерть, здравствуйте! Она встала босая с распущенными волосами и двойной страшной головой, золотисто-голубые глаза

блестели, окруженные роскошным светом. Белое платье было торжественно, золотые роскошные волосы странно зажиались тысячами огней. Невидимый свет окружал ее стройное, немного тучное тело. Темный умный череп смотрел торжественно большими глазами. Дыхание тайны носилось в воздухе, трепеща крыльями над семью людьми.

— А впрочем невеста не умерла! — произнес гость, закуривая трубку и переменяя положение ног.

— Голубчик! Жива?

— Жива и вышла замуж.

Темный череп стоял, как на жертвеннике, на темных, одного цвета с ним, волосах красавицы. Она беззвучно улыбалась, поджав губы, готовые прыснуть от смеха. Если тайна живописи возможна на холсте, досках, извести и других мертвых вещах, — она возможна, разумеется, на живых лицах: и были сейчас божественны ее брови над синими глазами, вечно изменчивыми, как небо в оттенках, в вечной дрожи погоды, роскошно алым темным цветом пышных уст.

„Бычка!“ — подскочил один из братьев и, взяв окурок, роскошно и шумно вдувая воздух, затаился.

— Что, не бачили меня видеть? О чем я? Да...

Ну вот, вроде есаула я был в конном отряде. Петлюровцев колотил. Все у меня были: и китайцы, старообрядцы, спартаковцы, венгры. Хорошие, боевые ребята были. Врываемся в город, песни играют, кто во что одет: в черные бурки, сермяги, алые жупаны — прямо сброд, но у всех на шляпе развеваются червонные ленты. Лихие люди. Старообрядцы, молодцы ребята!

— Да неужели? а ты не врешь? — захохотала старшая сестра, — да ты настоящий воин, богатырь на коне. — Она смеялась, и щеки ее прыгали.

— Едем, свищем, а червонные ленты на соломенных шляпах червонеют по плечам, як невиданные птицы крутятся, скачут в поле. Ну, я без малейшей дрожи гадов на тот свет шлю. Так в кумачах едем. Как песни грянем — молодецкий стон стоит. Вы что думаете — шутка? Бой, сердце колотится — у как! Як пташка выпрыгнуть хочет. Як дрова с плеча рубишь, засекаешь гадов, а сам после ходишь пьяный весь, шатаешься, пьянеешь боем, стоишь как столб, голова кружится. Ничего в это время не помнишь.

— Ничегошеньки? Неужели?

— Гордо так ходишь, озираешься. Балакают, бьют пьяные богом, ну а мы так пьяные боем. Конница налетает вовсю, спасаясь от главного удара пехоты. Удар боя направлен в одну сторону. На иноходце летишь, жупан кровью, кажется, горит, в руке шашка, пальба по врагу, пыль, о-о, а-а-а! — рев стоит, и хлопцы с красными лентами в пыли несутся. Режут, бьют всё что по дороге. У, страшно говорить! Эх, милое дело! Честно скажу: не жалел. Да, я уже не тот, много видел, гадам мстил.

— Да ну же? Да ты истинный русский воин! Сирот опора!

Он сидел грустный, опустившийся, развалился.

— Ого-го, милейший! наверное сидел в обове или в тылу сеном торговал, а сюда приехал и доказывает и нос выше держит, знаем! — загорячились мальчишки, споря о чем-то и доказывая.

— Ну, не хотите — не верьте. Знал сербов — удивительно чистые души и все черноокие. Ну и гуцулы хороши, с павлиньим пером на соломенной шляпе, дерутся до последнего. Ну вот...

Изучавшие со всех концов шашку, хлопцы вдруг радостно захохотали.

— Что вы хлопцы? О чем гремите?

— Хо-хо-хо! Вот так шашка! Ну и шашка! Даже кровь на ней есть... И такая чистенькая, молоденькая, точно барышня! Он ходит и головы срубает, а потом присядет к окну, сгорбится как кузнечик и малиновой краской шашку выводит. И кровь в лавке покупает или дарят возлюбленные.

— А что, разве я вру? Докажи, что я вру?

— Кровь ржавеет, а здесь новенькие красные пятна, еще свежие.

— Какая дуська, какая дуська! Шашку раскрашивает! — торопливой скороговоркой заговорили сестры.

— Вот не думала! Ты подумай только: шашку раскрашивать! Это надо! Дай я обниму тебя. — Она встала и жирная, толстая, но страстная — протянула к нему руки, старой, многолюбящей.

— Ну нет, спасибо.

— Раз, только раз, ну, дусенька, раз!

— Поцелуй на расстоянии — тогда согласен. — Он тихо смеялся и закрывался руками, прятался под стол от попрежнему протянутых рук.

— Ну, дуся, — разок, только разок!

— Да нет же, на расстоянии, ради бога! — прятался он.

— Ну, не хочешь, не надо. А всё же дуся! Дуся и дуся! — Она вынула иголку и нитку.

— А расстрел так: подходишь и — бац! Прямо в лоб стреляешь — валяешь! Оно скверно бывает, когда выстрелишь в лоб, а людина все-таки как столб стоит, и только кровью глаза запачканы. Что ж! Выстрелишь второй раз по кровавому лбу. — Какой врун! Какой лгун! Боже, какой лгун! Покажи свои глаза окаянные, свои томные очи мужчины, великолепного красавца и убийцы! — разгорячились сестры. — Хо-хо-хо! Вот так шашка! Это он подводит себе совесть, подведенная ты душа! Вояка, ты вояка! „Там была дивка; я замахнулся — она как завизжит! смотрю — красная кровь! . . . „Я думал взаправду кровь, даже испугался сам, смотрю-смотрю, а там на железе красная краска, еще пальцем растерта и отпечаток двух пальцев. . . Вот миляга! Сидел у окна сгорбившись, трудился, наводил.

— Хо-хо-хо! миляга, — намазал шашку и всем рассказывает, что это кровь, хочет быть страшнее! Третья сестра: — Кузнечик! обожаемый, тебя обожаю! Красить шашку, ну подумайте только! — Она была восторженным существом.

Вторая: — Дружок, я тебя не узнаю, еще сегодня храбрый воин, и вдруг — паяц!

Хлопец: — Тоже художник на шашке! Знаем мы вашего брата: продувная братия.

— А что? Я учился живописи — не закрасивать же мне губы? Я ведь не женщина!

— Они у вас бледные как земля, а теперь горят как огонь.

— Ну, а мы целуемся шашками. Цокаемся. Ловкие, сердитые поцелуи на морозе. Я не скрываю, что это краска, а не кровь!

— Дружок, а про расстрелы может быть тоже живопись на лезвее молчания? — Она наклонилась к нему и взяла его голову в руки. Захотала: — Так вот ты кто? Трудится как художник — на лезвее шашки головки выводит. Ах, ты, миляга, миляга! Сердечная душа.

— Воображаете ночную темноту, и „два всадника целуются шашками“?.. „Ночь молчит“.

— Какая дуся! Какая дуся!

— „Кругом трава выше человека“... Не верите, как хотите! Это в порядке вещей: вы, женщины, красите себе губы, а я свою шашку, что тут неестественного? Ну, довольно!

Он туго затянул голову платком и надел череп, подерживая рукой. Его дикие скачки слепого, во все стороны, разогнали всех и заставили жаться в угол. Страшные жмурки! Высокая дикая тень, размахивая руками и с бледным черепом, носилась по крыльцу и вдруг разразилась неожиданным крепким гопаком, так что тряслись половицы. Он сбросил жупан на землю и был страшен в голубой шелковой рубашке, дико расставляя ноги, размахивая костлявыми руками.

Этим воспользовались братья и, будучи дюжими ребятами, схватив воина за ноги и за руки, немедля вынесли в сад. Волны мужского хохота доносились оттуда. „Ох-ох-ох!“ — задыхался один. „Ох-ох-ох!“ — задыхался от смеха другой. Все тонули в сумерках. „Кузнечик, кузнечик, — неслоь оттуда — настоящий кузнечик!“

— Ну, будет! Довольно. Будет. Уеду в Галицию! Там нявки есть: спереди белогрудые женщины, как простые смертные, а сзади кожи нет и все

потроха видны, красное мясо. Точно часы без крышки. Страшные русалки и тоже глаза подведены. Ух, ее лешие не любят. Ловят — и прямо в огонь. Они принесли мертвого кузнечика за ноги и за руки на крыльцо.

— Ну, кушайте, вот лапша, молоко и всё. Знаете, когда суровый воин ест, он удивительно походит на кузнечика, в особенности рот — твердый, узкий, и жадные большие глаза. Ну совсем, совсем живой кузнечик, так взяла бы — и на булавку. Хо-хо-хо! — на булавку.

— Кузнечик, так кузнечик! А варенники добрые. Как надо варенники! С вишней, молодуха? У художников глаза зоркие, как у голодных. Добрые варенники, белые, жирные, как молодые поросята! Я уж десяток послал себе в рот.

— Вот бы взять такого поросенка и шлепнуть по губам, чтоб замолчал, а то трещит, не зная что!

— Какой невежда, какой наглец, уходи из-за стола! — вспылила сестра.

— Тпру, голубушка, стой, уходи сама, если по душе.

— Нет, подумайте, какой невежда: гостя и так называть. Как ты смел! Мальчишка, нахал, щенок уходи из-за стола!

— Вот и гости! На войне едешь грозой гадов, шашка над головой, полполка под твоим началом, почетный белый конь, а в гостях хлопцы за ноги выносят в сад, и голодным кузнечиком зовут. Где же всё величие? Бедная моя слава!.. А дюжие хлопцы! Приезжайте, возьму к себе.

Сестры. — Ну что, как? — загадочно и коварно спросила старшая сестра,

Первая: — Душка! милый!

Вторая: — Божественный, обожаемый!

Первая: — Как я его люблю!

Вторая: — Как я его люблю! Идем чай пить!

— Ну, братья и сестрицы, что вам рассказать?

Вы меня варенниками, а я рассказами. Товарообмен.

Ну вот, взяли город. Много их там. А ну-ка, песню к горячему самовару.

Грянули песню.

— Город взят. Начинается расстрел гадов. Я пощады не давал.

— Ого-го! так верно и ходит и отрубает головы по дороге.

— А что, вы думаете, сробею? Мало вы знаете меня, судари мои! Откуда у меня серебряное оружие?

Старший брат: — Докажи! Он по речке наверно ходил. Как увидит лягушку, так голову и отрубит — вот и говорит, что рубил гадов. Ужа увидит, тоже загубит малиновой шашкой. Таких гадов зарубил, что только речка плакала. Ходил и думал, что это люди.

Старшая сестра: — Так как же, таких гадов зарубал или нет? Отвечайте же! боже, какой глупый!

— Ну, опять попал в бабью неволю. Начинается бабья власть. На огонь прилетел как бабочка.

Старшая сестра: — Ты — истинный друг!

— Едешь на иноходце, кругом хлопцы спивают: „Ох, яблочко малосольное, ох вы девушки малохольные!“, да так грустно, что за сердце возьмет. Ленты развеваются. Кругом дивчины, да еще какие черноокие, живая сказка в плахте, и пищат: „Який

червонный жупан. Да какой красивенький! Ой, мамонька, какой красивый!“ Имел успех. Не пользовались. Едешь себе и свищешь.

„Ок я страдала...“ загремели из сада голоса заглядевшихся девушек с лопатами на плечах. — „Уж и застрадала! увидала и застрадала!“

— Есть у меня черкесское оружие. Для воина всё есть.

— Ну, так как же, правда, что ты 90 гадов убил?

— Девяносто не девяносто, а за тридцать ручаюсь.

— И не жалко?

— А меня жалели? Это было в Чернигове: мы сидели в остроге и ждали смерти. Брат налетел с чётниками, ворвался в город на броневике, разбил острог, взял меня. Спаслись... Всё видал. Сам будешь такой. Душа подрастет. Вы ребята, а души младенцев! Чи я баба, чтобы жалеть? Вы, бабы, льете слезы, мы льем кровь — каждому свое. Люди душат друг друга за горло: кто скорее? Не ты — так тебя. Ну вот. Одежды мало, ее нужно беречь, одежду снимаем, остаемся в белье. Приходят в опилках, сене, где кого поймали: в стогу, в копнах, в подполье. Раз было — привели пять заложников, поставили босыми в белье, выстрелили, один убежал. Считаем — все лежат, — одного нет. В лес ведут красные следы из раны. Ну раны — все равно подохнет в лесу. Пес с ним! Туда ему и дорога. Через двое суток приходит в избу: течет кровь, в белье, босой, хохочет и говорит: „Я-таки убежал. Расстреляйте меня! Только сейчас“. Ну, я не неволю. — Ну так как же, отвечай: было дело или нет? А то выпорю.

Как П.? неужели тот самый, который по Москве ходил в черной папахе, белый как смерть, и нюхал по ночам в чайной кокаин. Три раза вешался, глотал яд. Бесприютный, бездомный бродяга, похожий на ангела с волчьими зубами. Некогда московские художницы любили писать его тело. А теперь — воин в жупане цвета крови — молодец-молодцом, с серебряным поясом и черкеской. Его все знали и, пожалуй, боялись — опасный человек! За большие, голодные, выпуклые глаза, живую речь, вдавленный нос его зовут кузнечик.

В свитке, перешитой из бурки, в черной папахе... он был сомнительным человеком большого города и с законом не был в дружбе. Некогда, подражая пророкам (вот мысль — занести пророка в большой город с метелями, — что будет делать?), он худой, белый как снег, питался только черным хлебом и золотистым медом да английским табаком, большой чудака, в ссоре с обществом искавший правды. Женщины-художницы писали много раз его голого, в те годы, когда он был красив. Хромой друг, который звался чортом, три раза снимал его с петли. Это было вроде небесного закона: П. удавливается, Ч. снимает.

Известно, что он трижды обежал... с тучами каменных духов, храм Спасителя, прыгая громадными скачками по ступеням, преследуемый городскими за то, что выдрал из Румянцевского музея редкие оттиски живописи.

Любил таинственное и страшное. Врал безбожно и по всякому поводу.

ПЕРЕД ВОЙНОЙ

„Через два месяца я буду убит! На прусский лоб! Ура! Урра!“ — крикнул прапорщик, размахивая шашкой.

„Ура“, — повторяли остальные, поднимаясь с мест и вежливо и участливо смотря ему в глаза.

„Смерть наверняка! Урра моей смерти!“ — лихо крикнул он, волнуясь и, казалось, захлебываясь от счастья. Винная заря малиновой тьмью выступила ему на щеки, ему, мертвому без проигрыша через два месяца!

Он стоял и говорил. Голая шашка купалась вверху, рассекая воздух, разрезая сумрак лезвием, — гражданка грядущей войны. Она бесстыдно плясала, скинув последние шелка, и, повторенная в глазах, отражалась в зеркалах подвала, переполненного военной молодежью, на серебристых плоскостях, делавших стены и потолок подвала; весь подвал походил на зеркальный ящик. „Боже, царя храни“, — пели медные горла дуд, вдруг вспомнившие о себе.

Вышли на мороз. Сели кататься, носиться по Москве, далеко за снежными заставами. Вино в руках. Люди в свежих могилах цветов и зверей, с ног до головы одетые в могилы: разве не овца, белокурая и милая, грела дыханием смерти шею поручика, — разве не братская могила льнов Псковской земли белым полотном рубашки выступала на руке, державшей вино? Точно братское кладбище, засыпанное снегом? Разве не темный зверь, с другого

конца земного шара, из темных лесов Америки, прильнув к черепу художника, бросил живую дышащую тень и на лоб и на суровую морщину и на горящие глаза художника? Он, раньше скакавший в листве за сонными птицами, теперь согревал человека черной могилой, теплой ночью мерцающих пушистых волос, черным сиянием густых лучей, и, воин после смерти, защищал человека от копий мороза. Жизнь в хижине из чужой смерти, эти люди, в шкурах свежевскопанных могил, готовились сделать прыжок в смерть, чтобы где-то там стать, вернув долг, почвой для растений, дровами для травоядных печей.

„Долг будет выполнен“,—все повторяли это слово. Какая корова, чернопегая или белая, затопит свое вымя, висящее до земли, душой этого поручика? Какое поле — может быть голубых незабудок, может быть золотых лютиков, станет второй душой поручика? —этой горсти земли, похожей на разумные часы, волной упadaющей обратно в черную землю, на шопот земли, вдруг услышанный ухом: „Сын! вернись! мне необходимо тебе что-то сказать!“ Ехали; хмуро и весело молчали. Поручик иногда вставал, и голая шашка на ходу описывала в воздухе какие-то знаки, вроде восьмерки.

Самокат опоясал Москву, раздувая на ходу трубку снежной пыли, испуская стоны раненого зверя. Несколько приговоренных к смерти наступавшей войной сидели за стеклянной темницей, внимательными божествами бега. Чудовище летело, подняв над собой какую-то стеклянную Ярославну, лежавшую в глубоком обмороке, подымая черными могучими

руками ее стеклянный стан, как сумасшедший арап, не найденный в песнях Пушкина, умыкающий свою добычу.

„Хрро!“—дико хрюкнуло чудовище, прокалывая тьму холодными белыми клыками. Встречные отвечали ему стоном дикого гуся и исчезали в морозной неге. Я гадал о войне. Что она для людей? Большое бо-бо? В час ночи, на пути домой, застава около Ворот Славы была снесена со столбов запыхавшимся чудовищем. Мы похлопывали по шее дрожавшее и умиравшее животное, упавшее на колени. Городовые, сделавшие засаду, переписывали наши имена, не совсем довольные тем, что все мы стоим на ногах. Ничуть не удивляясь тому, что мороженое бревно, поперек наших горл, не размозжило наших черепов, мы сошли на снег со сломанного чудовища, полного предсмертной дрожи, издыхавшего рядом; оно было ранено и разбило свои глаза, очаровательные в своем блеске, протыкая вилами черный стог ночей и бросая его через голову.

Теперь я знал, какую будет война: мы вылетим из своих мягких сидений в бешеном беге, сойдем на землю, но застава будет сорвана! Мы видали эту заговорщицу позорно лежащей в снежной пыли, мы щупали наши головы и видели, что они прочно сидят на наших плечах.

Это маленькое письмо из будущего, незаметно для окружающих ловко врученное случаем, вдруг показало мне войну в себе. Еще не дошедший до нас великий чертеж громадного здания войны, вот он, точно два-три слова, намечающие смысл большого труда.

Я умею угол великих событий, отделенных временем в несколько лет, видеть в маленьких чертежах сегодняшнего дня. В этом крушении были черты, освещавшие будущее.

Да, мы были около самой вершины угла, и маленькая прямая нашего крушения сменялась великанской прямой войны, пересекавшей стороны чертежа под тем же углом, как и прообраз. Да, застава будет сломана! хотя мы и сойдем на землю.

Я добрыми глазами смотрел на друга, когда он читал: „Я тебя, пропахшего, раскрою отсюда до Аляски“,—и его могучий голос страшными объятиями крушил детские хребты понятий, еще не хотевших умирать.

На лицах понятых было написано „наша хата с краю“. Чугунные тела ворот славы, держа трубы, смотрели на нас... Война, нарастая в звуке своей мощи, точно гудок встречного поезда, метала тузы лучших полков, распечатывала всё новые и новые колоды людей. Спасаясь от головной боли, проигравшийся игрок облаком замотал голову. Этот кумачево-красный платок придавал ему восточный вид.

Звук войны достиг той высоты, грани слышимого, когда ощущение звука переходит в ощущение боли, и часто можно было видеть среди бросившихся прочь, шарахнувшихся улиц, остановившийся 6-й или 13-й, подный раненых.

„Все умрем“,— слышал я глухой суд из рядов красавца-полка, деловито уходившего на запад. В страшную печь бросались все новые и новые возрасты. Изредка из черных освещенных аданий доносились шумы грустной и могучей молитвы: это пели тысячи

грудей уходящих... Но ведь с той стороны ему тоже молятся", — подумал я. И вдруг передо мной мелькнул образ маленького жалкого китайца, которого сразу несколько рук дергают за косу. Что ему делать в этой толпе? Мне стало жалко того, кому молились. Кол из будущего надвигался на улицу, полную запаха вчерашних слов и понятий. Лишь верхние чердаки спаслись от потопа других времен. Подвалы были затоплены.

Я шептал проклятья холодным треугольникам и дугам, пируя над людьми, подымавшими ковши с пенной брагой, обмакивавшими в мед седые усы князей жизни, и видел, как кулак калек подымается к их теням с тою же глухой угрозой. Я отчетливо видел холодное „татарское иго“ полчищ треугольников, вихрей круга, наступавшее на нас, людей, как вечер на день, тeneвыми войсками, в свой срок, как 12 часов войны; я настойчиво помнил, как чечевица, наполнявшая котелки пехоты, вдруг стала чечевицей лучей мести, собрала в одну точку и зажгла как хворост.

Я помнил, как по рядам войск пробежало сначала крылатое слово: „тут-то оно и сказалось“, произнесенное весело, с лукавым видом взаимного понимания, вдали от начальства, бородатым дядькой, а потом: „бабушка надвое сказала“, угрюмо произнесенное суровым боевиком. Как отблеск надвигавшейся кровавой зари, две трещины пересекавшие мир того дня.

И не к войне ли „до конца“ относилось это загадочно суровое „бабушка надвое сказала“? — невольно спрашивал я себя. Может быть число, может

быть треугольник был пастухом этих двигавшихся на запад волн. Не он ли расставил громадные прутья железной мышеловки?

Всей силой своей гордости и своего самоуважения я опускал руку на стрелку судьбы, чтобы из положения внутри мышеловки перейти в положение ее плотника. „В игре в дураки кто кого оставит в дураках?“ — спрашивал я себя.

Я помнил, как шопот: „царь проедет“ — собирал толпы на углу Тверской. Скороход огромного роста, на аршин выше среднего уровня платков и котелков, передвигался в ней, городовые заботливо наводили порядок.

Вдруг коршун, зорко, как сыщик, выискивавший кого-то в толпе, два раза пронесся над ней и, точно не найдя, что ему надо, отлетел прочь, скрытый крышами. И только когда промчалась запряженная черной парой коляска царя и мелькнуло его лицо, коршун неожиданно вылетел снова и, опустившись над самой головой царя — точно выполнив поручение — быстро поднялся и исчез. Точно опущенный палец вдруг указал на кого-то, а голос произнес: „вот он“.

„Коршун“, — разочарованно повторяли многие и праздник встречи был испорчен, сорван внезапным приходом нового действующего лица.

РАЗИН

ДВЕ ТРОИЦЫ

На гордом уструге нет-единицы плыть по душе Разина по широким волнам, будто по широкой реке, среди ветел и вязов править челн поперек волне, поперек течению, избрав Волгой его судьбу, точно орел жестким клювом оконченную плахой, но дав жизни другое течение, обратное относительно звезд над нею, перерезая время наперекор ему от калмыцких степей к Жигулям, плывя через шумящий поток его Я. И скрягой считать прозрачные деньги волн, плеск волн, когда призрачный уструг нет-единицы тихо плывет по реке Разина поперек естественного течения природы времени, его Я, среди черных волн Жигулей, от низовьев простой головы, в своей думе лежащей на секире, под расстрелом глаз вдруг задумчивых толп, до истоков жизни молодого донца в Соловках, перерезавшего поперек всю Россию, чтобы подслушать северные речи, увидеть очи северного бога, бога севера, или на Днепре, где стоя над омутом, языческой удалью глаз весело выкрикал из голубой волны русалок, прижимавших к водяным кудрям столько громких имен, украшавших древние летописи.

Не даром хохочут холмы: „Сарынь на кичку!“, и оси, корни из мнимой „нет“ из единицы русалок протягиваются к „да“ единицам.

Не даром Волга каждую ночь надевает разбойничий платок буйной разинской песни и, голубая краса-

лица, смотрит, как заря зажигает кумачевой раннею спичкой сумрак лесов.

От кончины плыть к молодости.

Вот с секиры широкой, как язык коровы, прыгнула и соскочила голова, становится на плечи и покрывается призраком огромных богатырских кудрей: „Эй, держи около!“ — кричит она, приставив кулак к богатырскому рту.

Населить свой парус, свою лодку юношей-моряком — отрицательным Разиным — то в шишаке, то в кумачевой рубахе настешь так, чтобы грудь великих замыслов была распахнутой постелью, и оттуда смотреть в глубь реки — в темный мир омута, смотреть на тени, брошенные убегающим, испуганным раком. — Эй! Двойник Разин, садись в лодку Меня, — быть лодкой мертвецу, умноженному на нет-единицу, — из кокоры моих суток, на скамейку моей жизни.

Отрицательный голубой Двойник Разин, пепел заклятий сыплется на тебя из моих рук.

Будь черной пашней сохе моей сверкнувшей воли, точно покрытая бляхами уздечка, надетая на голову дикого коня-неука, покорись моей воле.

От красной плахи, волжской птицей в клетке, разметав буйны волосы каленого добела железа предсмертных пыток и великого моря смерти, куда влетела Волга этой жизни, плыть к первым негам юного я, молодого дикого южнорусского богатыря, жадного до неба, искавшего устоев правды в шуме волн у камней Ледовитого моря, под мощным гомоном тысячи тысячей государств птиц, возводивших стройные постройки храма камнями плеска крыл, камнями голосов.

Никто бы не узнал в молодом богатыре, слушавшем на берегу ночного моря голоса летевших журавлей, лавину победы в их голосах, читавшем летучую книгу, ночные страницы ночных облаков, будущего сурового и гордого мятежника, писавшего соседним царям насмешливое: „любезный брат“.

Вещие глаза еще мальчика, с первым пухом на губах, были подняты широко открытыми лесными озерами навстречу вещим голосам птиц, может быть кричавшим оттуда: „Брат, брат, ты здесь!“.

Там он искал те оси постройки человеческого мира, главные сваи своей веры, которые потом мощными сваями вбивал в родную страну отцов, родной быт.

Это не был главный яроста нескольких столетий, наследник земли отцов. Это был мальчик-пустынник, мальчик-отшельник, с тихими задумчивыми глазами, пришедший от своего моря к морю Ломоносова. Какой-то ледоход в небе, серые льдины птиц, наводнение неба черным кружевом стай. Стройные косяки государств, томительно-трубные клики на воздухе. Стремительный потоп несущихся черных млечных путей. Призраки летучей воздушной конницы, узоры точек и военные крики небесной пехоты, летевшей на приступ весны, певучие полки, брошенные на завоевание весны, трубными голосами журавлей, перерезав мир звонкими кликами, брошенные на приступ замка зимы войною песен, весеннее небо севера навсегда отразилось в больших пустынных глазах Раина, глазах юноши-пустынника, путешественника у берегов ледовитого моря.

Это были две Троицы: зеленая лесная Троица 1905 года на белоснежных вершинах Урала, где в окладе снежной парчи вещие и тихие смотрят глаза на весь мир, темные глаза облаков и полный ужаса воздух неся оттуда, а глаза богов сияли сверху в лучах серебряных ресниц серебряным видением.

И Троица 1921 года в Халхале (северная Персия), на родине раннего удалого дела Разииа. За Пермью, у крайней северной точки веток Волги, на переломе Волги и текущих к северу рек Сибири, прошла первая Троица, у каменного зеркала гор, откуда прочь с гор с обратной стороны бегут реки в море, любимое с севера Волгой, там прошла вторая Троица поворотного 1921 года.

„Знаем, своему богу идут молиться“, — решили северяне пермской тайги, когда в черных броднях и поршнях, с крошнями на ремнях за плечами, мы уходили перед Троицей на месяц лесовать на снежных вершинах, искать лесное счастье, мечтая о соболях и куницах Конжаковского камня, и неведомая снежная цепь манила и звала нас.

Речка Серебрянка летела по руслу, окутывая в свои снежные волосы скользкие черные камни, обнимала их пеной как самые дорогие любимые существа и щедро сыпала горные поцелуи, и, приклонив к ней ухо, можно было слышать ауканье девушек, живой человеческий смех и старые песни русских деревень.

Кто у кого брал струны и человеческие голоса: река или село? В мгновенной бездне нити проворной речной волны.

Как мчится и торопится скороход с зашитым в полё письмом — хранила река в голубых волнах письмо к Волге, написанное севером.

Кто-то смеялся там в глубине вод и задорно кричал удалое лесное „ау!“ ему, наклонившему сверху лицо, пришельцу оттуда, из мира людей; когда река отступала от русла каменной щели, на полувывсохшем русле мокрой топи можно было увидеть свободно набросанные широкие когти, отпечатанные медведем, изданные рекой в роскошном издании с широкими полями, с прекрасными концовками сосен в обложке песчаных берегов и снеговых отдаленных гор с черной сосной наверху.

Эти вдохновенные песни древнего люда, маленькие песенки, полные дыхания жизни, по которым можно бы судить, сколько творцу лет, куда он шел, в каком был настроении, был ли сердит или задумчив; казалась ли ему вселенная мрачным проклятием или благовестом, полным горошин серебряных слов, шашкой пьяного по голове или задумчивым рукопожатьем ночью?

Были напечатаны издательства леса на книгах черной топи. Не только медведи, но даже охотники умеют читать эти частушки в издании топких болот, от первых времен мира.

Какая Лаура прочтет песни лесного Петрарки?

А мы идем против реки все выше и выше, на суровые потолки гор.

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

СНЕЗИНИ

ДЕЙМО В 3-Х ДЕЙНАХ

Снезени: А мы любоча хороним... хороним...
А мы беличи-незабудчичи роняем... роняем...

(Веют снежинками и кружатся над Снегичем-Маревичем).

Смехини: А мы, твои посестры, тебе на
помощь... на помощь.

Из подолов незенных смехом уста
засыпем смехоемные.

Немини: А мы тебе на помощь... на помощь...
Снимем с вольных уст повязку немовую,
немязливую...

Слепини: А мы тебе глазины снимем
слеповые, слепязливую...

Снезени: Глянь-ка... глянь-ка, приотверз уста—
призасмеялся— жаруй! приоткрыл глаза— прилу-
кавился... Нацелился. Ой, девоньки, страшно!

(С криком разбегаются. За ними смеясь и со словом „люби себя“ гоняется и касается до них руками Снегич-Маревич. Пойманные остаются на месте. Смехини роняют вдогонку смех. Немини надевают повязки на уста видочей Слепини спят глаза чужим, поникая лнком).

Березомир: Сколько я видел игр... сколько
игр! (Плача) Ах, сколько игр!

Сказчи ч-м о р о ч и ч (натягивая гибучие ветви березо вые)

Дрожит в струнах.

Блесно, черные руна.

И мучоба.

Вникает в звучобу,

Как девушка в любой...

Я пьян собой...

(Береза, подобная белокрылым гусям, звучает. Водушчатый пальцами, незримым остается звучило. С разных концов, зыбля жалами и телами, приползают слепоглазые, слухатые и, угрожающе шипя, поднимаются по стволу).

Сказчич-морочич: Ай! (Падает, роняя струны, умерщвленный кольцами слушатаев. Змеи расползаются, свершив свое дело).

Молчанийные сестры: Он шел развязать поясы с юных станов. Плачемте, сестры! Омоем лицо и немвяпные волосы в озере отрадин. Плачемте, немые!

Березомир: Нет у гуслей гусяра. Умолкли гусли.

Нет и слушчих змеев.

Тише! Тише, люди!

(Няня леший. Влетает на воздух и пройдясь колесом, и прочертив рукой, полной светлячков, знак, исчезает).

Березомир (глухо завывает): О стар я... и я только растение; лесина, стар я... И не страшны люди...

(Подводимые юношей, вылетают навстречу людям слепини и немини, старательно повязывают уста немовыми и слеповыми повязками. Люди, разговаривая между собой, проходят).

Молодой рабочий (радостно, вдохновенно): Так! и никаких, значит, леших нет. И всё это нужно, чтобы затемнить ум необразованному человеку...

(Снегич-Маревич подлетает и бросает в рот снег. Бросает за воротник, где холодно, бросает в зубы говорящим. Снежини прилетают и опрокидывают подола снега над людьми).

2 человека (спокойно): И вообще ничего нет... кроме орудий производства.

(Снегич-Маревич бросает в рот снег). Однако здесь холодно. Идем. Итак, вообще ничего нет...

Некий глас: Отвергнувшие отвергнуты!
(И Снезинн, и Березомир, и Снегич-Маревич — все вздрагивают и с ужасом прислушиваются).

Некий глас (с глухой настойчивостью): Отвергнувшие отвергнуты!

Вещежка (помавая снегообразной старой головой):
Это о них, об ушедших... о них... (склоняется все ниже и ниже к земле головой) о чужаках...

Березомир: А! — стар я! (Снегини и любочь с новой силой отдаются ранним русальям).

Бес: Кто холит корову? Бес. Кто отвечает за нее? Бес. А ты что делал? Ставил сети? Ловил снегирей? Пухляков?

Бесенок: Колоколец худо звучал, хозяин не нашел, волк поел...

Бес: Вот тебе, голубчик... вот тебе. (Наламывает березовые прутья).

Березомир: На доброе дело и веток не жаль.

Бесенок: Не буду, дедушка. Ой, больше не буду. Миленький, дорогой!

Березомир: Это не повредит... Малец, еще.
(Отдыхая, Снегини и Снегич-Махович прилегли на стволах).

Липяное бы вьмо: Сладка нега белых тел. Милые.
(Пробегает заяц и, встав на задние ноги, бьет лапами).

Снезини: Слепиня повязывает глаза и так играет с пушеным ломком зимы. (Пробегает с раной в боку волк, брызгая кровью на снег). Ой!

Все: Волченька, милый волченька, бедунет, горюны ты наш извечный.

Морозный Тятка: Это так. Нельзя оставить пути лечоба.

(Волк садится и жарко облизывается языком. Снезини прикладывают к ране снежные ткани. Волк порскает дальше. С диким воем проносятся борзые).

Березомир (больно хлещет их ветвями): Вот вам, голубчики.

(Снежинки садятся на шеи и ускользают в даль. В охабне мороза, поскрипывая сосновыми стволами, в метелях сорочек пляшут Снежак и Снегуля-Снежамидца).

Снежак: Рукавицы снегобоберные сладки; плечики поскрипывают. (Показывается черный с черной сосулькой в руке). За дело белые товарищи! (Разводит упругие прутья, и те, звонко наслаждаясь, хлещут по разгоряченному красному лицу).

Древолюд: Ха-ха-ха! (Размахивает от радости белыми черными руками и искажает смехочевом старые серые лица).

Снегуля: А эта хворостиночка тебе не нужна? (Ловко подставляет ветвь, и охотник, задыхаясь и делая безумные глаза, падает с ружьем на снег. Ружье задевает, дает выстрел).

Липовый парень: Ай, больно, больно! (Дрожит, подымая над снегом ружье. Барин задыхаясь уходит назад).

Древолюд: Ха-ха-ха! Кривит рожи. Ну и потешен честной народ.

Белый мужик: Но что это? Пробежали морозные рынды. Стучат снеговицами, секирами, низут. Осмостров. Бирюк провыл. Вышел снежный барин, летучи-полетучи зимние белые волосы. Морозень охабень морозит бороду, чешет в заылке. Белый боярин. Честной народ! Ушла она. Как дым в небо, как снег в весну. Ушла. Истаяла.

Все: Кто? кто?

Снежные мамки: Да Снезимочка же, Снезимочка...

Все (понутив морозящую голову): Снезимочка... Снезимочка!

Морозный барин: Снезимочка... Куда?

Снежные мамки: Да в город же, в город...
В город ушла...

Все (в раздумьи): В город... город.

Березомир: В город... Снезимочка... в город.
(В раздумьи глубоко поникает с глубоким вздохом)

Лесная душа: В город...

Белая старица: В город... бор дымохвоен,
узкоствольный.

(Губина и губы мыслонogi и вельми, широк лишай. Пол покрыт
зыбким толпомеховым мохом. Там всю ночь шалют развратно-
ухие шалые зайчишки; там бегают воленогие лисы, и заваляли
в берлоги походно-терпеливые шубы медведи).

Снегязи: Нас принесут в незе рябичи и туле
куншь. Нас принесут в елках.

Дубичи и елкичи: Нас срубят.

Лесная душа: Снезимочка... Снегляночку...
Снеговушка.

Снегомужье: Ушла...

Березомир: Чудны дела божии. Рогожало.

Зайчик: Я проскакал сейчас по ее следам до
балки снегоубийц, где к ее следам присоединились
большие мужские.

Снегун: Мужские?

Все: Ах... Ах...

(У Снегуна на белых прекрасных глазах наворачиваются боль-
шие крупные слезы).

Снегун: Ворон снимет с моих уст немину. (Немини
поспешно снимают с ворона неминную повязку). Врешь,
мелкий воришка, вырезатель липовых карманов,
обкрадыватель полушубков у всех липовых парней.

Рында: К делу!

Заяц: Сам ты врунишка! Ишь какой! Ушатый!

[Ведун]: Это не были следы. Это были найденные лапти, которые висели на кусту у поляны „Ясные зайцы“.

Рында: К делу!

Ведун: Она сняла их.

Снегун: Бедная ты моя девочка! (Льет сосульками слезы).

Снежные мамки: Век ли будем мыкать свое горе? Век грушун будет горевать?

Снегун (машет рукой. Все удаляются): Она же ушла к хавуну... ведомо...

Снежак и Снежачиха (плачут): Ушла Снегляночка. Нет Снезиночки.

(Влачини ходят с ледочатами и собирают их слезы, проливая их затем в ручьи)

Окий с свирелью:

Печальный леший. Нега.

Снега.

— О не утех!

В опашне клеста,

В рядне снегиря

Тайна утех.

Лики горят,

Пьяны уста.

Коль томеги сердцем.

Ай! вичи пьян зимок,

Когда увидны зимы мак.

Снежак (утирая слезы): Вы, пухляки, порхучие по лозам и лесам, позовите-приманите густосвистных снегирей, зовет их снежок.

(Пухляки перепархивая и посвистывая улетают).

Снегири: Мы здесь, Снегей.

Снежак: Вы попадете в сети, вы сядете в тесные клетки. Вы увидите Снезимочку, вы расскажете мне.
Снегири: Мы знаем твою волю, Снегей.

(Садятся на ветки куста, напоминая чуть красивые зубы на белом снеге. Снежак и Снежачиха плачут. Ледени собирают слезы).

Лешаченок (поймав уроненную лень свет, поет):

Зареву
Снегиря
Нет
Негиря...
Я зареву!

(Заливается смехом и, роня снежную дуду, убегает).

Березомир (ловит его, сечет, побрякывая): А я его прутом... прутом... по заднишке... по заднишке...

Занавес.

Образ месяц: Ах, мне пора выйти, так как кончается ночь и небо не имеет зари.

Князь: Исполни свой девий долг, сияя зарей рассыпающейся.

Образ месяц: Ах, девушка, девушка, забыл я... про службу месяца и про ворог день.

Владимир: Вот я лягу и рассыплю волосы. Позднее же уйду в светлицу. А и мужьям прилично пировать до полдня.

Щука: Не имеем мы облика человеческого, а умеем говорить по-человечьи. Отче Водяной! Вот ты принес на себе озеро, а и меня с ним. А и слышно едет Ярыня на белом коне... Но грозит мне рыбак частой сетью. Привет Владимиру: он славен и в рыбах.

Птицы цапли: Привет тебе, князюшко Владимир, ты славен и в зверях.

Рыбак: Красное Солнышко... Позволь мне поднести улов. (Дует ветер, и озеро синее и рябит по телу. Едет рыбак за сетью, подымает сети и, вынув судаков и лещей, кладет их в вилуп, подобно году, полному прекрасных дней, и, кланяясь, подносит белец волосами Владимиру). Не погнущайся князь, отведай свежей рыбки. Над нами милостив Водяной, но и он за князьим столом. Батюшка Водяной.

Водяной: Хо-хо-хо, дед, ты не забыл, как тебя тянули в воду?

Рыбак: Не забыл батюшка, не забыл, владилец, а и вот тебе соболя.

Владимир: Отведай, дед, брага здесь, мед.

Дед: А в старину и не так пивали! А и озеро не простое: его оставил конь Святогора, ступая.

Водяной: Славный дед! Он в первый раз пришел на озеро, когда пришла моя Негея. Она любила слушать песни чернокудря-рыбака. Теперь он, как озеро зимой. Негея тоже уж не та. Вкусны меды, холимые во славу Владимиру, но еще вкусней вечер, распиваемый зорями и зеленым юношей с ними. Пейте, други мои, что призадумались?

Дружина: Не белый лебедь бьет крылом волну.

Веселыня: Ярыня.

О, веселыня!

Инок: Опомнитесь! Опомнитесь, близко царствие бога. Погаснет пусть бесчестия веселыня. Владимир, князь полей родимых, зачем поругана святыня?

Водяной: А и не ведаю, почему поругана святыня. Хоть я и бог, а и не знаю, чем худо пить зеленое вино. А и не худо о боге судить богу.

Долирь: Небини скинули, глянь, черносиние тайлища и в плясьменах под дуду высотовую сме-хунно дерзача свершают красотинный ход до зари. Утриня с восковатыми устами улыбенеет, не ка-менно и властно простирает над землей вселенную руку. Зоричи-небичи, благословежи-зоричи — сы-пятя с неба милебой неба с соннеющей землей — небовые красно-багряные цветы цветы-жардечь. О, небатая тонеба меня в нея! Небак, миреющий взором и златоволначь волосежом, стройнивец пле-чами и прямивец станом берет днерокотную свирель. Утрочь сквозь волны белизн и чернизн правит челн. Повсюду утрири. Утро.

Я: Милеба небского могоча и небеской силебы с земнотой хилебой не предвещает мне добретеющих зело дел. Зловый дождь, дождь зла, вижу, ожидает меня. Имея ум гибкий как у божества, так как лишь точка божества я, как и всё живое, я на-шел бы выход достойный и точный в удаче.

Ручь и ня: Ощупывающий меня взором! Видун будь, надменник, этих глаз: некогда были громадны как мир, будучи прошлым и будущим вселенной, и вселенничями были детские взоричи, будучи памятью у одного и надеждой у другого. И все были божичами. А ныне я меньше стрекозы, и лишь рыбаки пугаются моего тощего тела.

Мстить, мстить! О, мстенеющий замысел! Само-убийствоватые крылья слепи из дней прожитых,

и путиной небеснатою и чистой, желомец навинь и жалимец всех, лети, лети! И, подобно щиту остаивая в себе и мешкотствуя полету вселенничей омигеней бессрочно, новый вид бессрочия, брызга бессмертных хлябей, и делай то, что тебе подскажет нужда. Самотствуя, но инотствуя, станешь путиной, где безумствуют косяки страстеногих (гривых) кобылиц, но, неся службу иной може, будешь волен пасть в пасть земных долин.

Всесущиня: Можебная страна велика, и кто узнал рубежи?

ДЕВИЙ-БОГ

Посвящается Т

ПЕРВОЕ

Дочь князя Солнца: Мамонько! Уж коровушки ревмя ревут, водиченьки просят, сердечные. Уж ты дозвожь мне, родная, уж ты дозвожь, родимая, сбегать я за водицей к колодцу, напиться им принесу, сердечушкам-голубушкам моим. Не велика беда, если княжеской дочке раз сбегать до колодца за водой идучи, не перестану я быть дочерью Солнца, славного князя Солнца. И плечи мои не перестанут быть нежными и белыми от коромысла. А со двора все ушли слуги нерадивые, кто куда.

Боярыня: Сходи, родная, сходи, болезная. И что это на тебя причуда какая нашла? О коровушке заботу лелеешь! То, бывало, жемчуга в водуреченьку кидаешь, — а сто́ят коровушек они, — или оксамиты палишь на игрищах у костров — а сто́ят жемчугов они, а то о коровушках заботу лелеешь. Иди, доня, пойдн, напой их! Только зачем это кнку надела с жемчужной укой? Еще утащнт тебя в реку из-за нее водяной и достанешься ты не морскому негугу, а своей родной нечнстн. Или боднет тебя буренушка, а н страшная же она!

Молва, дочь князя Солнца: О мамо, мамо! Буду ндн мнмо Спнчнх, н не хорошо, еслн увндят мнн прстоволосой. Лучше жемчужную кнку нметь, ндн н по воду для коровушек.

Мать Молвы: Иди, иди, Незлавушка, иди, иди, красавица! (Целует ее, склоненную, с распущенными волосами, в лоб. Княжна, раскрасневшись, с лицом радостным и отчаянным, уходит). Только почему это я коровьего мыка не слышу? Или на старости глуха стала? (перебирает в ларце вещи).

(Вбегает старуха, всплескивая руками).

Старуха: О, мать-княгинюшка! Да послушай же ты, что содеялось! Да послушай же ты, какая напасть наваялась! Не сокол на серых утиц, не злой ястреб на голубиц невинных, голубиц ненаглядных, голубиц милых — Девий-бог, как снег на голову. Девий-бог, он явился. Девий-бог.

Боярыня (в ужасе): Девий-бог! Девий-бог!

Старуха: Явился незванный, негаданный. Явился ворог злой, недруг, соколией глаз. С ума нас свести, дур наших взбесить. О, сколько же бед будет! Иные будут, шатаясь, ходить, делая широкими и безумными от счастья глаза и твердя тихо: „он, он“. Другие, лапушка моя, по-разному не взвидят света.

Княгиня: Ах ты, напасть какая! Ах ты, туча на счастье наше. На счастье наше золотое, никем не поруганное, никем не охаянное, не позоренное. Уж я ли не наказывала Белыне: чуть проведает, что лихо девичье в городе — ворота на замок, на заморезные, а ключ либо в воду, либо мне. Да собак позлее пусти по двору, чтобы никто весточки не мог передать, той ли записочки мелкощетчатой. То-то коровушкам пить захотелось! То-то в жемчугах идти нужда стала. И девки разбежались все. О, лукавая же, ненаглядная моя! И истрепала бы

ее ненаглядные косы, если бы не любила пуще отца-матери, пуще остатка дней, ее, золотую, и золотую до пят косу. И лишь равно-мил синечерный кудрями Сновид. Но он на далеком студеном море славит русское имя.

(Входят другие женщины, всплескивая руками).

Женщины: Сказывают, что царская дочь как селиночка-поляничка одета и тоже не сводит безумных глаз с девичьего лиха.

— А говорят, красоты несказанной, ни сонной, ни сказочной, а своей.

— А и седые срамницы, сказывают, есть, и тоже не сводят безумных глаз с голубоокого. А он хотя бы посмотрел на кого. Идет и кому-то улыбается. А и неведомо, кому. Берет из-за пояса свирель и поет, улыбаясь. А и зачем поет, а и зачем поет, и откуда пришел, и надолго ли, — неизвестно. И куда — неслыханно, незнаемо. И куда идем — не знаем. Уж не последние ли времена пришли? Нет, в наше время знали стыд, и девушки не смели буйствовать, ослушиваясь родительской воли. А ныне, куда идем — неизвестно. Уж, знать, последние времена наступают.

— Ах, седые волосы, седые волосы!

Старуха: Что, княгиня, задорого отдашь серебряное зеркало? Дай, посмотрю, может быть облюбую и любую дам за него цену. Греческой работы. А из Фермакопей?

Княгиня: Нет, жидовин из Бабилу привез.

Доброслава: А, из Бабилу! Сколько лет, столько морщин. И глаза уж не те, не так когда-то блестили. Ах, молодые девичьи годы. И почему так

Солнце, закатываясь, знает, родимое, что взойдет зарей завтра. А, постарев, снова ли станем молодыми? Нет, видно не станем! Что-то не видно старых подруг! Ах, бывало, иные из них черноглазы и быстроноги!

Видно, пойти искать мне мою срамницу! А то нет? Княгиня Гордыта: Стыдись, матушка! Наши лета уже не те.

Доброслава: Хоть раз взглянуть на него, какой он из себя.

Княгиня Гордыта Нет, пошла бы к Спесивые Очи, да не на кого двор оставить.

Доброслава: А ты собак с цепи спусти. Да побей их хорошенько, чтоб злее были.

Что это, я сегодня нечесаная какая, точно поминки справляю по мужу.

Гордыта: И мне, видно, придется (раскрывает сундук и вытаскивает платье, осыпанное камнями).

Доброслава: Уж дай, матушка, и я оденусь. Некогда мне бежать к своему скарбу. (Одевается). Что это, колокол? Знать, вече. Видно, правду сказывали детинушки, что молодцы разделятся и что одни пойдут войной на Девьего-бога, замыслили его убить, а другие встанут на защиту.

Гордыта: Страсти какие! (Обе встают и одеваются).

Доброслава: Что это, шум! Знать, недалеко проходят. И поют и поют... Ах ты, несчастье какое!

(Накидывают платок и выбегают во двор на зеленый луг перед частоколом князя Солнца. Впереди, взявшись за руки и полупернувшись к Девьему-богу, идут девушки, рассеивая цветы и поют).

Девушки: Нам сказали, что ты человек,

А мы не верим, а мы не верим!

Нам сказали, что ты бог,
А мы не верим, а мы не верим!
Нам говорят, что ты не Лель,
А мы не верим, а мы не верим!

Смотрящая толпа: Впереди шествуют девушки, смотрите, смотрите — они в венках широких приречных трав, покрывающих зелеными лучами их локти, стан и темя. И каждая, как солнце.

(Они выходят вперед и пляшут, смотря то на землю, то на учителя. И поют: „Нам сказали, что ты не бог“; поет глубокий сейчас, тогда черноглазый, запевало: „А мы не верим“; отвечает ему „слушайте, слушайте“ весь нежно пляшущий полк, ударяя в ладоши и доверяя радость в глазах...)

Сзади, теснясь, из узкого, стесненного жестокими суровыми бревнами переулка — его безобразие уменьшено скатами крыш, скворешнями и старыми ветлами, — выливается, подобно весеннему пруду, толпа и наполняет лужайку перед двором князя. Девий-бог идет улыбаясь — преклоняйтесь, преклоняйтесь — и держит в руках тростниковую свирель — кружитесь, кружитесь — играя, когда они поют: „А мы не верим, а мы не верим!“, и молчит, когда они поют: „Нам сказали, что ты не...“

Из ворот славного князя Солнца выбежали — „куда, куда? — две знатных боярыни. Мелькают кокошники, венки зеленых полевых трав, красные лица, яркие глаза, радость нежной и молодой толпы. Из узкого переулочка делает попытку проехать на коне богатый длиннородый человек. К нему спешают красивейшие из девушек — и, взявши под-уздцы, отводят коня назад. И он стоит на коне неподвижно, смотря на их радость, как осокорь на молодой ручей).

Молва (радостно говоря): Мамонько, мамонько!
И ты пришла! И Доброслава! Видела нашего бога?
О, как я рада, что ты пришла! Видишь — вот он.
Он сейчас засмеется. Потому что я заметила — он улыбается всякий раз, когда поют: „Что ты не бог“. Видишь, он сейчас смеется.

Толпа (поет): „Нам говорили, что ты не бог...“ и „А мы не верим...“ и „Видите, видите...“ (Девий-бог улыбается широко и открыто).

Молва: Мамонько, мамонько, к нему подошла царская дочка и, открыв покрывало, сняла, чтобы он поцеловал ее. Но он только посмотрел на нее и улыбнулся, как не знаю, как дитя. А она еще веселее стала скакать и еще веселее бить в ладоши. Мамонько, хорошие коровы, а? И ведра все, видишь, стоят на завалинке, и коромысла там. И наши все сенные девушки здесь. Вот Быстрява, вот Зорька и Тиха, здесь же.

Мамонько, а мамонько! Красивый наш бог?

Гордята: Ну, уж нечего сказать. Красив-то — красив, очень красив... да... смеется. Что и говорить, девское чудо! Так ты правду говоришь, что здесь царская дочь? Да! И она открыла свое покрывало, чтоб он ее поцеловал? И он ее не поцеловал? Вот бесстыдница! Вот уж придешь, береги свою косу, золотую, чесаную!

Молва: А там, на Перуновом поле, война. Наши братья защищаются, а наши женихи поклялись его убить. И Гомон там, и Тишина, и Крик. И Смех там. И Смех, и он за нас. А Осетр, Вепрь, Вечер, Ветер схватили меч и против. И все там. Кто за нас, кто против нас. И только один Небо остался в храме и молится там. А убить его они всетаки не могут, потому что сначала они должны убить нас, а потом уж его. А на своих невест никто из них не пойдет. А некоторые говорят, что и убить его нельзя, потому что он бог. А это что? А! (подымает ворот рубахи, и оттуда блистают надетые латы).

А! (смеется). А это что? (поднимает руку, и в руке из-под цветов блестит короткий меч).

Гордята: Ах ты, батюшки. До чего мы дожили! Девушки в броне! Девки наши мечи и латы понадевали.

Боярыня: О, мать, мать!

Гордята: Так нет же! Не ударит меч о твою звонкую кольчугу и не пробьет твою нежную грудь. Раньше пронизет мою седую грудь и грудь верных наших слуг, а потом уж дойдет до тебя. Я защищу тебя, мое дитяtko ненаглядное. Иди, иди, смотри на своего бога; сколько хочешь смотри, вволю смотри и не бойся. Я, старая мать твоя, здесь, с тобой, не оставляю тебя. Сенные девушки, идите за ней. И за своего бога не бойся. Не посмеют мальчишки сделать вот столько зла. Иди, любуйся на него вволю. Уж я не выдам своего дитяти. И слуги здесь. И старая испытанная челядь здесь. Пой, пой.

Посторонние поющие: Вон девушки прекраснейшего племени, над головой держа венки из трав, пляшут и поют: „Нам наши глаза сказали, что ты не человек. А мы им верим! А мы им верим!“ О, какое ликование и какая радость! Сколько веселоглазых и радостноликих. Но что это, шум голосов на соседней площади! Видно, мимо частокола островерхого забора как кто-то проскакал на коне с копьем и в золотом шишаке и отступил. И уж он падает с коня, увлекая за собой длинное дрожащее копье. Ах, это Ручей упал. Слышим, слышим звон мечей. Теперь уж не слышать ни богу, ни смертному песни вокруг него. Все слилось

в общий стон и радость. И кружатся, и кружатся, быстрее можно ли кружиться? И он стоит, улыбаясь, и держит в руках свирель.

Глаза всех запылали не своим огнем. Некоторые стоят, отклонившись, и держат поднятым двуострый огненный меч. Таинственным образом на головах некоторых заблестели шишаки — о, как прекрасна гребнистая медь на смеющихся кудрях. Как лихо надеты шишаки, защита от беспощадных стрел.

Молва: Мамо! Мамо!

Толпа: Все яростнее битва, завывание битвы. Там и здесь раздаются стоны. И вот уже из переулка бегут убить бога. Им рассыпается навстречу толпа девушек в шишаках и с мечами.

Молва: Мамо, мамо, видишь — это священная дружина!

Толпа: Он же берет в руку свирель и, смеясь ясными глазами, смотрит на пробегающих убийц. Девушки кружатся в круге, другие поднимают высоко руку и, ударяя в ладоши, озираясь, восклицают: „Бог! бог!.. Верим, верим! Мы! Мы! Смертные, земные!“ Он держит в руках свирель и по-прежнему улыбается глазами, ища кругом взорами опасность.

Убийцы, устремленные вперед диким порывом, остановились, точно просыпаясь, и смотрят, так как повернули на них железо мечей, обнажив их, защищающие их шлемоносицы и лезвие мечей женов у самого строя невест.

Несколько шагов отделяют строй невест в латах с звездами и солнцами на груди и гребнистых шишаках на золотых рассыпавшихся волосах и ряд

мечей остановившихся в разбеге женихов. Что будет? Что станет? Но смотрите, Гордыта выбегает из толпы к дому с руками, протянутыми в ужасе, и седыми выбившимися волосами; возвращается во главе слуг и заполняет пространство между теми и другими. С другой стороны главный жрец Перуна, сопровождаемый седовласыми, идет, заставляя наклонять головы до земли и падать на землю богомольных. Все склоняются, и самые девушки в шишаках, головами до земли. Он быстро проходит между их рядов, не останавливаясь, и доходит до причины смуты, который стоит, ожидая. И, наклонясь, говорит ему священные слова. Юноша передает ему свирель и, поклонясь, идет за быстро удаляющимся стариком.

Он проходит между двух рядов взглядов, одного — враждебного и полного ненависти—женихов, другого—богомольного и благоговейного—стоявших на коленях в шишаках девушек.

Убийцы и невесты, блеснув глазами, встают с колен и расходятся в стороны.

Девушки (поют): Ты был с нами,
Мы молились тебе!
Ты ушел от нас,
Мы будем помнить о тебе!

Седые слуги, смотрите, смотрите!

Толпа: Встают с коленопреклонения и, поддерживая под руки залитую слезами Гордыту, близкую к обморочному состоянию, с упавшей на плечи головой, ведут через опустевший луг к славному княжьему двору. Пронесают безнадежно повисшего руками со склоненной головой умирающего Ручья.

Братья и женихи, встречаясь на площади, сумрачно блестя глазами. Но что это? Приезжает тысяцкий разбирать побоище и драку.

Бирючи зовут женихов и братьев на осударев двор для суда над Девьим богом.

Слышите, слышите! „То есть дело не малое, и не ведомо никому, кто виновнее в нем, молодцы или девы и их бог. А потому ступайте малый и великий, на осударев двор, и он вас рассудит, как бог на душу положит, великий и светлый разумом государь“.

О, сладко слушаться власти! В ней слышится голос большего нас разума! И ужас ее послушаться. Вон толпы спешат на судьбище, идемте и мы.

ВТОРОЕ

Двое знатнейших русичей выносят меч из темного храма на ступени, перед кумиром Перуна.

Главный жрец (стоящий на предверхней ступени):
Двое ли вы несете меч?

И отвечают:

Руд и Рох Да, вдвоем, потому что одному не снести его.

Жрец: Не разрезается ли надвое волос, падая на него?

Руд и Рох: Да, разрезается.

Жрец: О, Перун, суди чудесным мечом, карающим сказавшего неправду!

Толпа: Вон, вводят раба.

Жрец: Ты обвиняешься в том, что ночью убил своего господина. Убил ли ты его?

Раб: Нет, он...

(Меч падает и разрубает раба на части. Толпа падает на колени и охает в ужасе. Вводят на возвышенье Девьего бога).

Жрец (к толпе): Кто этот человек?

Одни: Мы не знаем, кто он. Он пришел смутить нас. Он заставил девушек, с мечами и в шисаках, устремиться против едва не вступивших в битву с девичьей ратью женихов. Он покрыл кровью семьи, заставляя в распре женихов выступать против братьев невест. И братья краснили латы друга друга, обрызгивая их кровью. Он прекратил торговлю и ходьбу на многих улицах. Он подверг расхищению наши жилища, когда все ушли. Он разорил многие роды, заставляя девушек в исступлении рассеивать по земле нити жемчуга и бросать в воду серебряные кики.

Другие: Он вносит смуту в наши семьи и говорит, что он бог.

Возражающие: Мы не знаем, чтобы он говорил, что он бог, но он заставил нас уверовать в то, что он бог, и сделал всех безумными.

Один: Он сын рыбака и ведьмы.

Другие: Его видели в обществе с женщиной, улетевшей сорокой.

Новые: Он сын казненного раба, смерть которого была отсрочена на несколько дней.

Другие: Никому не ведомо, кто он; может быть, он и бог, но он подлежит казни.

Голоса из толпы: Он человек, он человек!

Жрец: Кто ты, о Девий бог?

Девий-бог (сохраняя неизменную улыбку): Вы хотите, здесь стоящие, чтоб я сказал, что я человек. Хорошо, я говорю: я — человек.

(Меч падает, не поражая Девьего-бога, и остается лежать у его ног).

Жрец (наклоняясь, целует меч, лежащий у ног Девьего бога, потом подымаясь): О, князя Страх и Ужас, возьмите меч и положите в руки Перуну. (К отроку): Быть может, ты скажешь, что ты бог?

Девий-бог (наклоняя, голову с улыбкой, чуть слышно): Да.

(Все жрецы, князя, толпа припадают взглядами к мечу. Жрец молчит, смотря, выжидая и подняв руки. Взоры всех, следя за мечом, поднимаются все выше и выше).

Жрец: Он не упал.

Толпа: О! о! о!

Кто-то: Слышите! Слабый женский голос, несущийся из толпы: „бог“. И всюду многие с внезапной верой восклицают: „он бог!“ И уже рождается какая-то буря голосов, то утихающая, то разрастающаяся, сливающаяся в один голос: „он бог!“

Девий-бог (с улыбкой): Нет, я человек.

Кто-то из толпы: Меч не упал.

(Жрец склоняется на колени и целует край одежды стоящего Девьего бога).

Из толпы: Как можно быть сразу и богом и человеком? Он безбожник и оскорбляет святыню.

Молодые Очи: Не он безбожник, а меч не священен.

Жрец: Кто сказал, что меч обманывает?

Молодые Очи: Я. (Движение в толпе). О, кто бы ты ни был, и какое бы имя ни присваивал себе, дай встать под судящим мечом отроку.

(Выходит из толпы жених с русой бородой и черными блестящими глазами).

Молодые Очи: Вот я встаю на это, уже не святое место...

(Голоса в толпе кричат: „Меч задрожал, меч задрожал, бойся“).

Жрец: Не делай напрасного опыта, человек.
Молодые Очи: Старик! Солгал не заклавший меч. (Вставая) Задай мне нужные вопросы. (Жрец стоит с грустной улыбкой).

Ну что ж, я сам себя спрошу. (Подымая глаза к небу): Кто я, здесь стоящий? Я бог.

(Меч падает и разрубает его на части, уроненный золоченым кумиром с обнаженными зубами и сердитым видом. Толпа молчит).

Жрец: О, кто б ты ни был. Мы смертны, и не боги. Ты пришел смутить нас и лишил возможности жить нам так, как велели боги. Уйди от нас. (Девий-бог склоняется на колени и целует край одежды жреца)

Старик из толпы: Отче святой, пусть боги... пусть меч, низверженный богом, за дерзкое слово казнил Молодые Очи, но этот принес нам зло: он отнял у нас невест и подлежит за это казни.

Слабые голоса: Он прав!

Девий-бог (смеясь): Он прав.

Жрец: Хорошо, да будешь ты судим по человеческому закону. За нашу смуту, побоище и распрю ты подлежишь смертной казни и ты ее прирешь, если на то будет воля твоя. Честные, о мужи! Тот, кто стоит здесь, присудил себя по законам нашим к смертной казни. Да будет воля его.

(Ведут его со связанными руками на лобное место. Колыхаются, подобно водам, толпы народа. Многие молятся. Читают молитвы. Зажигают костер под стоящим Девьем-богом обреченные, мрачные преступники).

Устремляющиеся из переулка люди: Что вы делаете, что вы делаете! Вы предаете смертной казни неизвестного, когда он бесчинствует на другом конце города. Он собирает толпы

зачарованных девушек и поет и рассказывает о звездах, показывая рукой, и пляшет. Так они безумствуют вместе. И опять уже загораются схватки женихов и братьев, как светящееся море перед грозой.

Заведующие казнью: Мы казним казнью согласно с его волей и не в противоречии с людскими законами.

Новоприбывшие: Ты притворяешься, неизвестный! Ты не Девий-Бог!

Девий-бог: Ты прав, я не Девий-бог.

(Выскальзывает из рук и подымается к небу облаком).

ТРЕТЬЕ

У князя-Солнца

Гордята (к Молве): И тебе не стыдно! Уж солнце закатилось, уж заря потухла, а ты только возвращаешься. Уж наше сердце истомилось, тебя ожидаючи.

Молва: А, мамо, что было! В то время как казнили Неведомого, принявшего образ Девьего-бога, мы с ним весело проводили время на холмах, за городом. Он достал где-то подсолнечник и сидел с ним в руке на холме и, отрывая лепестки, гадал, сколько нам лет. После мы пели, плясали, кружились вокруг него и костров, а когда мы ушли, то пришли нищие и собрали много жемчуга, который мы насыпали, срывая с себя, ему в руку, а он бросал, следя за полетом, и смеялся, когда полет был красив и лалы, блеснув, рассыпались по земле. Нам всем было очень приятно отдавать жемчуг, но совсем не приятно, когда эти противные нищие

собрали и надевали на шеи с кожей грубой, как колено верблюда.

Гордята: А твои жемчуга где? Как, ты тоже раскидала жемчуг!

Молва: Конечно! Неужели я останусь сидеть как глупенькая, когда все подходили и насыпали ему жемчуг в руку.

Гордята: Но ведь это твоей прабабушки.

Молва: Ну так что ж, что прабабушки. (Смеется) Зато я внучка.

Князь-Солнце: Ну и ну!

Молва: Мы все думали, что это был просто человек, и не могли понять, зачем его судили. Так как юноши объединились в общем замысле убить его тайно, во время сна, то его охраняет отряд медью облаченных подруг, и он заснул со своим подсолнечником, окруженный неспящими с блестящими при луне латами и шлемами. Его невозможно найти, так как он скрылся, окруженный девичьей ратью в Священной Роще на бесовых холмищах. И то место со всех сторон окружено деревьями.

Княжич Шум: Вот я пойду и скажу это.

Молва: Это будет подлость, и ты будешь сыщик. (Продолжая рассказывать) Засыпая, он почему-то велел завязать себе глаза. Почему-то рассказывают, что в 12 часов он проснется и пойдет с подсолнечником в руке, с завязанными глазами, по лунной тропе.

Гордята: А как он одет?

Молва: Во-первых, он не растает со своей дудкой, которую он срезал из тростника, которому молится. Затем в белую рубашку и белые портки,

белые ошучи и лапти. За поясом у него свирель и гребень и ножик для срезания луков, из которых он учил нас стрелять.

Вообще он несколько не походит на бога; это просто очень, очень милый молодой человек.

Старый князь: Молодчик.

Мать Гордыта: Оладьи с сушеными грушами покушай — проголодалась, набегалась.

Молва: Нет, я уж больше не хочу; меня, кажется, кто-то зовет.

Гордыта: Смотри, опять не уйди с ним на Священную Гору.

Молва (уходя): Было бы странным...

Горничная: А княжна ведь ушла! Да! Приказали мне принести сулею вишневого варенья да платочек потеплее и объявили, что изволят угостить своего бога вареньем. И еще взяли свою вышивку, чтобы не было скучно сидеть, если назначат часовым.

Гордыта (подымаясь): Я же говорила! Я же говорила!

Княжич: Однако, это я не знаю, что такое. (Ходит по комнате) Ходит по ночам! Эти вольности доведут, я не знаю, до чего. Какой-то бродяга. Я пойду и убью его.

Князь Солнце: Ну, не так-то скоро. Однако, нужно принять меры (одевается и уходит).

ТРЕТЬЕ

Светелка, наполненная по большей части безусыми вооруженными юношами.

Один (с приподнятой смешно губой и устремленными вверх слушателей глазами): Вот что, этому нужно положить конец! Вам известно, что бродяга, отрок,

ничем решительно не выдающийся, ничем не отличающийся, завладел, или вернее похитил сердца всех прекрасных барышень столицы. Мне достоверно передавали, что там ничего предосудительного не происходит — они просто собираются и проводят время вместе, как если бы у них отняли половину их лет. Но что их ожидает в будущем! Что с честью их и их семей! Да, мы должны их убить. Его участь решена не нами. Мы только исполнители. Его не следует порочить. Но я не следует щадить. Он должен пасть. Но, говорят, там есть отряд вооруженных девушек. Как с ними поступить? Нет никакого сомнения, что они станут защищать своего любимца. Я предлагаю поднять меч и на них, но пусть, кто не убьет его, упадет грудью сам на меч. Я кончил. Несогласных с моим предложением прошу поднять руку. Раз... два... При одном воздержавшемся, семь за, два против. Угодно собранию...

Остальные: Мы согласны.

Княжич Шум: Я пришел к вам. Я знаю, где он. Он в Священной Роще. Мне сказала об этом сестра.

Председательствующий: Я поздравляю вас с сообщительностью, которая привела вас сюда, и предлагаю собранию вернуться к порядку дня.

Вошедший: В чем цель вашего собрания?

Председательствующий: Мы решили переселиться в души наших предков. Для этого мы перешли в прошлое на 11 веков. Но пришел он и смутил наш покой. Мы обсуждаем способы, опираясь на меч, восстановить покой.

ЧЕТВЕРТОЕ

Высокая роща священных дубов. На сучках некоторых кумирообразные изображения богов. На холме спит Девий-бог, окруженный бодрствующими девушками в латах.

Княжна Молва: Вот и я. Я принесла вам вишневого варенья, а сама закуталась в теплый платок. Хотите?

Одна: Благодарствуем.

Молва: Когда проснется учитель, я угощу его вареньем.

Одна (приподымая голову): Он спит еще. Как хорошо светится на горе наши жемчуга, сорванные нами с себя, — словно светляки на холме. Но (прикладывая палец к губам) тише. Он поднимает голову. У него на глазах повязка. Он идет, спускаясь к нам с холма, и держит в руках свой подсолнечник. Нет, он направляется в лес, куда ему повелевает итти падающая с неба полоса света. Идемте быстрее за ним.

(Блестя латами, девушки всходят на холм, чтобы итти за ним).

1-я латница: Он идет и точно спит.

2-я латница: Он идет держа руку — точно его ведет за нее чья-то большая рука.

3-я латница: Он проходит между деревьев, посвященных Леуне.

2-я латница: Идемте же быстрее, так как его может ожидать опасность.

1-я латница: Кто это между нами? Она появилась вдруг там, где она сейчас, ниоткуда не приходя. Смотрите, смотрите, я через нее прохожу, и она возникает тотчас за мной. В руке ее копье, а на стане легкий плащ.

2-я латница: И я тоже. Я пересекла ее копье, и оно тотчас же сомкнулось за мной.

3-я латница: Я свободно прохожу через нее, но смотрите, не держит ли она на привязи двух гончих, двух быстрых собак.

Все: Да, держит.

3-я латница: Но всмотритесь, не возникают ли на его голове рога и не бежит ли он, преследуемый бегом оленя.

Все: Да, он бежит как преследуемый, и над ним рога. Да, мы видим, он — гонимый олень.

Нет, это нам показалось, потому что он снова идет держа в руке золотой цветок, как всегда, как всегда — тот.

Девий-бог: О, девушки, вы собрались вокруг меня как цветы вокруг ручья, который им звенит, но холоден; теперь же я иду к той, к которой я цветок, поворачивающий к ней голову, как к ночной Леуне.

Некоторые латницы: Он поет! Да! К нам холодный, он идет к той, которая будет холодна к нему. О, бездушная Воля! О, попирающая людские души Судьба! Мы разбросали свои жемчуга, сравнив ночной холм в блеске с звездным небом. Мы истребили свои души в богослужении ему, он же остался холоден и идет к той, которая будет холодна к нему и перед которой бросает свои слова и чувства как снятый с шеи жемчуг.

— О, несправедливая, злая Судьба. О, бедные, бедные мы. Не оставить ли нам его? Не пойти ли к нашим близким, братьям и сестрам, оплакивающим нас, сидя у вечернего огня. Нет, потому что

и горе наше сладчайший мед, который мы когда-нибудь пили, и несправедливо оставить его одного в темной роще с цветком в руке, среди, может быть, подстерегающих убийц. Идемте по темной роще, поднимаясь и спускаясь по холмам, и пусть изображения богов, смотрящих с веток, будут свидетелями верности девичьей рати ему несравненному, ему ненаглядному.

— Смотрите, девушки, здесь река. Кто, невидимый, оставил здесь челн, где его никогда не бывает, оставив столько мест, сколько нас, присутствующих?

— И кто сел, молчаливо сел у кормы, благодаря чему челн сам идет поперек волн, без помощи чьих-либо весел? То Рок. То, видно, он принял на себя труд перевозчика, чтобы облегчить нам выполнение его указаний.

— Ах, таитесь, девы, боязливо и страшно в страшном присутствии Рока. Вот молчаливо и прозрачно светится он на носу челна, предвещая страшное. И куда мы стремимся по волнам, не знаем.

— Лейтесь за нами струи и донесите о нас печальную весть нашим семьям, так как мы плывем ведомые Роком.

— Но река надвигается туда, где раньше была улица. И вот уже мы на суше. Но что? Не ищущие ли везде убийцы мелькнули сзади нас? Сестры, сестры, пора нам доказать, что не напрасно эти руки взяли меч и что не робкое сердце защищают эти латы. Ах, как ярок свет светочей и это рок, что каждая из нас встретила здесь своего оскорбленного поклонника.

— Но мы не нарушим законов человеческих и каждая из нас выберет лишь чужого друга.

— Как ужасен свет светочей!

— Как, неужели с ними и наши братья!

— Увы нам! Но нет, они вкладывают мечи в ножны и остаются в отдалении. Счастье, счастье, что готовая вспыхнуть война между единокровными отодвинута от нас на сколько дней! на сколько мигов! А он, божественный, всё идет и снова имеет вид оленя, и снова между нами его лунная, с двумя гончими, воительница. Славьте, девы, судьбу и предотвращенное нарушение всех людских законов. А он всё идет, и не кажется ли вам, точно он дрожит, останавливаясь.

— Да, он остановился. Но в то время из-за переулка, где рога многих жертв охоты придают переулку вид леса, показывается зарево светоча.

— Уж не ищущие ли его убийцы показались оттуда? Нет, это дева! Но не коварный ли замысел затаила она? Или это кто-нибудь переодетый в девичье платье? Нет, ее лицо слишком прекрасно, она слишком прекрасна и лицом и станом. Смотрите, он дрожит.

— Смотрите, божественная гонительница уже настаивает его гончими. Смотрите, он протягивает ей цветок... зачем? Нечаянным движением она спалила его цветок. Она не замечает его и идет дальше, ослепленная светом своего пламени, не заметив его и, торопясь, входит в калитку. Ах, уже гончие настаивают его, и он падает, издавая страшный крик. Пронзительный, ужасный крик. Он лежит, терзаемый лунной охотой.

— Жалко его. И где его лицо? Оно искажено судорогой, и не узнаем мы в нем его. О, несемте ласково его, страждущего, в ближайшее жилище.

— И ласковыми заботами постараемся отворотить неотвратимый удар страшного рока.

— И где божественная гонительница?

— Ее нет, как нет ее гончих собак. Кончена охота.

— К тебе же, гордой, мы затаили беспощадную месть. И лишь неизвестное нам сердце Милого мешает растерзать тебя мечами и умчать тебя, окровавленную и преследуемую, в рощи.

Ночной дозор: Кто здесь в латах и с мечами в позднее время? И кто лежащий с опаленным цветком и лицом, искаженным от мук, на земле? Уж не Девий ли это бог! Да это он! Да будет ему известно, что за великую распрю, внесенную в наши семьи, он обречен на смертную казнь, но что в его воле, — так как никому не ведомо, кто он, божественной ли он природы или нет, — подчиниться суду или не принять его.

Девий-бог (слабым голосом, тихо): Я не принимаю казнь.

(Начальник дозора и все склоняют головы).

Начальник дозора: Вам же, латницы, повелено прекратить ночные сборища и вернуться в ваши семьи и быть снисходительней к земным юношам и быть ласковей до их домогательств. Сейчас же можете перенести его в частное жилище и ухаживать за ним и исполнить все, что повелевают вам сострадание и ваша природа по отношению к тому, над которым тяготеет рок. Идите, княжеские и царские дочери, в ваши жилища.

Воины дозора: О, прекрасное зрелище! Прекраснейшие девушки знаменитейшего племени в латах и с мечами и с шипаками на голове, озаренные пламенем колеблемых светочей!

Мы думали, что только в сказках и божественных истинах возможно это. Но и невозможное бывает. И тот жалкий, жалкий! Несчастный, несчастный! Вчера счастливейший, сегодня несчастнейший из смертных, лежащий на земле с лицом, поднятым к небу, и с кудрями, смешанными с грязью.

Учитесь, люди, горечи земного, даже когда оно личина!

Но беремте носилки, чтобы отнести его в ближнее жилище.

ПЯТОЕ

Башня-пристройка

Любава (перечитывая письмо): „Вчера я встрети-лась с безумцем, который протянул мне цветок. Испуганная нечаянным движением светоча, я спалила неосторожно цветок и, вероятно, испугала его, потому что он испустил стон, похожий на те, которые издаются во сне. Может быть, это был Девий-бог. По крайней мере, за ним стояло много девушек в латах со светочами в руках, столь прекрасных и знатных, что я могла пройти мимо них только с потупленными глазами. Они же бросали на меня взгляды ненависти и презрения. Если это тот отрок, о котором я так много слышала, то я, вероятно, заслужила взгляды.
„Страшно мне бродить одной по тропинкам судеб“, как говорил мой учитель,

Вчера я встретила еще с одним юношей (это было до того) и сегодня жду с ним новой встречи. Сердце сладко бьется. Хотя я на той высоте и на той тропе, откуда падают только со смертью.

Всего лучшего, Зорелюба. Передай также лучшие пожелания брату Сновиду и попроси его приехать, чтоб быть свидетелем моего счастья или несчастья“.

— Всѣ. О старушке Весенние Глазки не упомянула, но это потом.

Достаточно ли на мне чистое платье? И достаточно ли я прибрала свои волосы? И что все это значит?

Ведь не по своей воле юноша с повязанными глазами шел ко мне, презрев столько опасностей, из темной рощи, где под изображениями богов его подстерегали, может быть, убийцы. Так и мое сердце не покоится ли в чьих-то сильных руках? Но оно доверчиво и не бьется сильнее обыкновенного.

Что будет, что будет сегодня? Не надеть ли мне другое платье? Нет, в детстве меня приучали к скромности, и то платье, которое на мне, не превышает моих понятий о строгом и благородном вкусе. Пойду такой, какой я одета сейчас. (Запирает на ключ дверь и идет по дороге). Мне нужно пройти мимо города на холме по тропинке среди рощ сосен и дубов, где храм Черной Смерти.

О, какое страшное имя! Но почему только сейчас заметила я его? Только произнесла, и уже все окрасилось в темный цвет и стало мрачным. Нет, нельзя быть такой ветреной. Вот и подъем на гору. Но кто это, предшествующий толпе старцев и детей,

со взором прекрасным и страшным, нет, не страшным—ужасным? Отчего его черный взгляд прикован ко мне?.. Почему черты его исполнены какого-то совета бежать и каким-то гневом? Почему его глаза исполнены той же ненавистью, которой горели вчера глаза девушек в латах. Или бежать мне, страшась этого взора? Или бежать мне без оглядки и с протянутыми вперед руками по склону зеленого холма от этого взгляда? Или бежать мне? Но ведь это он! Это он! Что так страшно изменило его взгляд? Нет, с горькой решимостью замкну свое сердце и пойду навстречу неумолимому взгляду и встречу его поцелуем, как с утра велит мое сердце. Ты, сияющий вдали! Я иду к тебе. Но не та же ли толпа девушек показывается там? И не этот ли вчерашний стоит там со взглядом ужасным и вот опускается на колени и поникает волосами до земли и снова встает, закрывает лицо руками и смотрит глазом ужасным и плачет? И почему кто-то машет руками с отчаянным видом — тот самый дальний?..

И почему какая-то хромая уродливая старушка, со взором злобным, стремится с поля пересечь мне путь и кричит, чтоб я остановилась, явно желая опередить меня. Нет! О, как прекрасен Девий-бог, ныне стоящий без повязки, с лицом печальным, впереди своих хранительниц!

И для того ли я вчера отвергла его мольбы, чтоб сегодня отказаться от того, кому я была верна вчера и сейчас?

И кто всё превзошел собой? Но для чего всё нарастает печаль и бешенство в печальных и одиноких глазах и искривляется страданием? Он за-

медляет шаг, задерживая ноги явно, чтобы дать старухе, горбатой и уродливой, опередить меня; но я сама устремляюсь вперед, я сама поспешаю навстречу ему, убыстряя шаги к нему, единственному, допустившему такое соревнование. Но я ближе, но я вижу, как загораются глаза такой силой прощенья, такой любовью, после которой самое ужасное простимо и легко.

О, я вспоминаю обряды Чумноуста и, гордая, иду навстречу им. Только отчего рыдает Девий-бог, поднося к голове руку, и слезы на глазах девушек в латах? Прочь, прочь, костлявая старушка, хватающая меня за руку... Ты видишь, я отталкиваю тебя, заставляю тебя со смехом падать на землю. Но ты задерживаешь меня, хватаясь за полу. Напрасно! Хор присутствующих: Свершилось! О, почему не старец, не больной, не преступивший законов совести?

Почему красивейшая девушка, отвергшая, побуждаемого роком, домогательства Девьего-бога, его, который был равнодушен ко всем земным, бросавшим на его пути ожерелья, встречается ему на этом пути, неся „да“ осужденному молчать.

Ее час сочтен!

Напрасно взоры всех говорили ей: „беги!“ Напрасно лица других изображали ужас и печаль. Напрасно дальний машет ей рукой, указывая ей путь жизни, последний из возможных.

Напрасно старалась опередить старая и тяготившаяся жизнью женщина!..

Она была осуждена!

О, плачьте, юноши: одной невестой стало меньше.

О, плачьте, девушки: одной сестрой стало меньше. Ныне она в руках жрецов, отравленная вечно молодым лобзаньем Чумногуба, переданным ей ужасно из уст в уста юношей. Ей дадут противоядие, и на полчаса она будет весела и жива. А юноша уже мертв. Мертвый лежит он у ее ног. Кончен данный ему срок быть не мертвым. Так кончилась игра двух смертных.

Девий-бог: Вы, сердцами которых я, пренебрегая, играл, вы, бывшие свидетелями ужасной ночи, вы, охранявшие меня от ночных убийц!

Я поведу вас на вершины гор, и на хребет моря, и в ущелья подземного царства. Я буду будить вас на утренней заре и, баюкая, усыплять на вечерней. Морская волна не сумеет более точно отразить звезды, чем я ваши желающие души.

Лишь следуйте за мной, как за вождем.

Лишь помогите мне отомстить за смерть милой.

Отряд латниц: Слышите, слышите, какие призывающие к битве звуки умеет он извлекать из своей тростниковой свирели?

В него вселился кто-то другой, так как он не похож на себя. Вот он бежит, преследуемый прокливающими жрецами, по крутой дорожке вверх. Какие доспехи на нем! Какое копьё в его руке. Нет, это только так кажется. Это солнце золотит его кудри.

О, смотрите, смотрите, скачет по гребню горы олень, и его снова преследует гонительница с двумя собаками на привязи.

То не страшная ли охота воскресает перед нами?

Но что делать с теми, кто попытается противо-

борствовать меди мечей отравленными чумой устами?

Бегите вы, Отвага, Улыбка, Сила, напрягая колени, вслед за ними и делайте что вам подскажет ваше сердце, не тщетно переменившее прялку на железо. Мы же попытаемся противоборствовать показавшимся убийцам, но нам кажется, что среди них и собравшиеся цари нашей страны.

Уж не исполняется ли древнее пророчество: „Мор омертвит, падая, склоны гор, когда поцелуи восстанут на мечи, противоборствуя“?

Горе! Тогда темная участь предстоит нам, ски-тальцам, верным своему вождю и в изгнании. И тогда о своей участи мы давно уже читали в детских сказках. Сколько встреч, сколько чудесного!

Но они вбегают на площадку святилища. Следует и нам поспешать туда.

(Площадка перед изваянием Чумнобога под сенью, усыпанной черными камнями, стоящего, держа руку на железном посохе. Черные губы блестят, помазанные свежей кровью).

Жрецы (пробегают, вереницей окружая в белых одеждах своего бога): Прочь, безумная чернь!

Главный жрец: Назад, смертный!

Девий-бог: Здесь нет смертного.

Жрецы: Увы, сблизилось то, что мы ожидали. Пора нам удивляться себе. Так как никому не известно более будущее, чем нам, но и мы остаемся верны року, и не вам, земные девушки, а богу Чумноусту достоин наш последний поцелуй. Мы совершаем древле обещанное и возвещанное. И не

удивляйтесь нам, так как мы тоже заимствуем свои силы не у людей. Мы хотим быть достойными наших богов.

(Жрецы в белых одеждах быстро пробегают мимо бога и, целуя его в губы, скатываются вниз по ступеням мертвые).

Девий-бог: Делайте свое последнее земное дело так, чтобы мы, наблюдая вас, могли удивляться вам и рассказывать о вас в песнях. Мы, не умирающие, смотрим на вас, умирающих. Знайте об этом. Девы: Ах, опять среди нас воительница, сдерживающая до нужного времени неутолимых гончих. Видно, мы перед страшным.

Девий-бог: Да, мы перед величественным и накануне страшного.

Главный жрец: О, живые еще воины Чумноуста. Устремитесь в последний раз с отравленными устами на пришельцев, кто бы они ни были.

Девы: Что нам делать! Можем ли мы поднять мечи на старцев, устремившихся на нас с поцелуями. О, какой ужасный рок сделал нас участниками в войне поцелуев и железа! Нет, уроним железо и, закрыв лицо руками, отдадимся неизбежному (делают это).

Присутствующие: Уже умолк главный жрец, уже прозвучали закрывшие лицо руками, а жрецы все еще продолжают свой страшный бег мимо лобзующего кумира, и вот уже последний из них низвергся, скатываясь, с красными глазами, белой бородой, по ступеням храма. И всё тихо. Одни стоят с завернутой в плащ головой или же с заслоненными от ужаса глазами, другой, с дерзко протянутой рукой, устремляется к кумиру, и тот падает, шатаясь, в бездну, и бородатый еврей с мешком змей, рас-

терявшись, остается на месте. Но легким движением, кто-то отсекает ему голову, и она лежит, шевеля веками, среди расползающихся с шипом змей.

А между тем поднимаются снизу цари и воины.

А между тем жрец смотрит глазами безумными и печальными и тихо идет, потупя бороду, к пришельцу.

Тот смотрит загадочно-открыто, и жрец наклоняется к нему шептать тайну и вдруг, расхохотавшись, касается его уст своими. Но тот смеется. Жрец падает, откидываясь назад, на руки прислужников и умирает. Но нет, этого еще нет. Это еще только наше воображение. Еще только отошел от кумира жрец и идет мимо стоящих неподвижно девушек с плащами на голове. К спокойно стоящему Девьему-богу идет он. И что будет? Дальше что! Несет он с потупленными глазами смерть и бледный и смеющийся будет, сражаясь, падать, встретив лобзание, или бежать. Но бежать он мог бы и раньше. Но у него нет оружия!

Да, мы видим, твоя близка казнь, и правит гончих твоя спутница! Медленно движется жрец, задерживаемый какой-то силой.

Но уже приходят цари, и уже бегут убийцы.

И куда бежать, когда спереди старец приближается с чумными устами, сзади напряженно дрожащие луки и прильнувшие к ним головы злых людей. Так закрыть голову плащом осталось ему.

Но что это? Падает на землю жрец, несший смерть, и невредим отрок и стоит, не шевелясь.

Нарочно ли переменили цели стрелки, или это вина невидимой власти, изменившей верные луки?

Не знаем, бедные, но отрок стоит невредим, и уже цари приходят прикрывать его щитами.

И кто-то, не будучи в состоянии вынести происходящего, бросился в пропасть.

Цари: Свершилось. Обреченными выполнен заданный им урок, живые же смотрят на них и поучаются. Вы же, безумные юноши, сложите мечи и копья. Не вам дано право карать и миловать. Тот же, на кого направлена ваша молодая ярость, пусть уйдет отсюда в изгнание. Волны, которые бьются о подножие этой горы, донесут его до теплого моря, где в скитаньях со своими спутницами он найдет конец светлый и чудесный, какой возведен ему в древних сказках. Спросите его, открывающие свои головы от плащей и рук, принимает ли он наш суд?

Девий-бог (подымая голову): Да.

Цари: Тогда спускайтесь к волнам, на которых качаются челны со всем нужным для вас.

(Девий-бог и латницы спускаются. Цари остаются и смотрят на них).

АСПАРУХ

I

Войско в степи

Отрок: О, Аспарух!

Разве ты не слышишь, что громко ржут кони? Это стан князей.

Они не хотят идти. Им ясные очи подруг дороже и ближе ратного дела. Среди лебяжьих столиц они вспоминают о судьбах семей, покинутых на заботы. Если ты идешь на войну, то зачем тобою взято мало стрел? Так они в недовольстве говорят о походе. И требуют вернуться.

Аспарух: Слушай, вот я поскачу прочь от месяца; громадная тень бежит от меня по холмам. И если мой конь не догонит тени, когда я во всю быстроту поскачу по холмам, то грянется мертвый от этой руки мой конь, и навеки будет лежать недвижим. (Скачет).

Отрок: Совершилось: грохнулся на землю и подымает голову, старый конь, пронзенный мечом господина.

Аспарух: Иди и передай что видел.

II

Лют: Уж стены Ольвии видны.

Аспарух: Здесь будут шатры. А это — головы князей?

Лют: Повиноваться нас учили предки, и мы верны их приказаньям, хотя ты строг и много юношей цветущих среди погибших умерло князей.

III

Стан вечером

1-ый воин: Вот эллин. Лежит и напевает беззаботно.

2-ой воин: Я видел их, когда был пленным.
Бывало, парубки и девки
Масло польют на белый камень,
Чтоб бог откушал
И после скачут, оголясь, вокруг
костров.

Нагие девки их в венках
Волнуют кровь и раскаляют душу.
А белобородые жрецы благословляют
происшедшее,
Их обычай обольстительней, чем наш.

1-ый воин: Где грек?

2-ой воин: Лежит и смотрит.

Отрок (протягивая руку к пленному): Отпустите!
(Эллин проходит в шатер; оттуда доносится смех).

Стража: Что-то веселое принес с собой юркий эллин.

Голоса из шатра: Проводите до ворот.
(Кто-то закутанный в плаще выходит).

Стража: Он вырос и выше и шире в плечах.
И шаг длиннее.

Но след исполнить приказанье. А не ладно. Ночь синее.

(Старший воин провожает).

Воин: Молчит, а мне за ним итти.
Эй ты, скажи хоть слово!
Или ты хочешь заработать что-нибудь
молчанием?
Кроме палочных ударов — ничего нет.
Но вот стоящие на стенах города
Вышли встречать; а вот и плата! (Хочет уда-
рять)
Ай, ай, — кто ты?
Аспарух: Смерть, смерд! (Коротким мечом убивает
его и перескакивает через ров).

IV

Город. Праздник. Жрецы в венках мертвых белых цветов
стоят безглагольно на углу площади. Шествие будто из белых
богов и богинь возлагает венки на жертвенный камень. Заго-
вор: „Сгинь! сгинь! Улетайте, ходоки, в неба пламень!“

Присутствующие (поют, закутанные в белое):

Все коварно, все облыжно!
Пламень все унести готов,
Только люди неподвижно
Вознесли венки цветов.
— Громче лейтесь, звуки песен,
Каждый юноша внемли:
Будет гроб для каждой тесен,
Каждый только клочок земли.

Жрец: Горе, горе, гнев и ужас,
На землю лягши, поклонитесь!
В солнце светлом обнаружась,
Лучезарный виден витязь.
Все сошлось в единый угол:
Горе, грезы, свет и гром.
И лицом прекрасным смугол

Бог блистает серебром.
Горе, горе, гнев и гнев!
Возносите плачи душ,
На вас смотрит, загремев,
Лучезарный бледный муж!

(Присутствующие падают на колени, молясь и коленопреклоненные. Аспарух в темном плаще, некоторое время стоит не решаясь, прямо и неподвижно, после опускается тоже. Крики: „Это переодетые грабители“. Вооруженная стража грубо бросается к нему).

Аспарух (поднимаясь и замахиваясь мечом): Прочь, чернь!

Воин (поднимаясь с земли): Нет, он не простой!

Толпа: Вот кто водит и морочит свой народ.
Златом сорит каждой ночью во всех
притонах у ворот.
Холодая, голодая стоит войско в диком
поле.

Знать, гречанка молодая отняла у князя
волю.

Золотое в золоченом вознесли мы
чаши с влагой,

Отдавайся же с отвагой пляскам неге
наученным.

Пляши с нами, о Аспарух! Иди за нами,
о Аспарух!

Побежденный не студеным

Губ прижатым девы младшей,

Отдавайся же смущенным

Пляскам тайны с девой падшей.

(Увлекают Аспаруха за собой).

V

Начальник города: Где Аспарух? в каком притоне отдыхает он от своих подданных? Его войска взбесились и хотят идти на приступ. У ворот кто-то убит. Где Аспарух? в какой трущобе скрывается он от своих подданных? Уже три стрелы лежат у храма Дианы.

VI

Лют: На седла, войны! Вперед. Пусть всё решит военный жребий. (Начинается сражение).

1-ый воин: На-днях хвалился эллин

Привратника дать место Аспаруху.

2-ой воин: А кто-то принес перстень и меч и говорил, что это вещи Аспаруха. Эллины дерутся отчаянно. Но жребий вынут. Но кто это в развевающемся плаще бежит через пустырь? Он кричит: „Где мои войска, где мой конь?“

Аспарух: Столпитеесь же вокруг меня, держащие луки наготове.

Приговор мне ведом.

Слетайтесь же ко мне, стрелы,

Как стрижи на вечерний утес.

Я буду стоять как вечерний утес,

Закутанный и один, мертвого же меня

Не бросайте, но отвезите к великим
порогам.

Я закрываюсь плащом и жду.

Жрец (протягивая руку): Мужайся, Аспарух!

Воин: Зашатался и упал, и разъезжаются по своим местам.

ЧОРТИК

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШУТКА НА РОЖДЕНИЕ АПОЛЛОНА

Диалоги

Старик: О, дайте мне рог!..

Другие: Внимающие рок...

Старик: Просторы смерти...

Внимающие: Смерти...

Старик: Есть он, радейте в нем любить....

Кто-то: С застывшим взором внемлю: бить.

Старик: Смерть шествует с нами...

Внимающие: Внимающие! С нами.

Старик: О, лукавое имя! (роняет рог и исчезает во мгле).

Слушающие: Ими...

Ученый (с бритым худым лицом и в длинных волосах пробегает и кричит, разрывая на себе волосы):

Ужас! Я взял кусочек ткани растения, самого обыкновенного растения, и вдруг под вооруженным глазом он, изменив с злым умыслом свои очертания, стал Волинским переулком с выходящими и входящими людьми, с полузавешанными занавесями, окнами с читающими и просто сидящими друг над другом усталыми людьми; и я не знаю, куда мне идти: в кусочек растения под увеличительным стеклом или в Волинский переулок, где я живу. Так не один и тот же я там и здесь, под увеличительным стеклом в куске растения, и вечером дворе? Вселенная на вопрошания мои тиха!

Кусты (протягивая смехи как лица): Ха-ха-ха...
(Скачут голые ведьмы с буйным свитком волос и, оседлав ученого, мчат его на край видимого поля).

Ведьмы: На водопой, на водопой седого ученого,
За очки его держитесь как поводья,
Верхом, на коняке верхом.
Мы мчимся по полю на скакуне плохом?
На седом длинноволосом ученом—
О покажи, конь, свое робкое лицо нам!

Старика болота: Он бывал в гостинице: человек умный и простой.
Где останавливаются боги, где приличествует быть богам.

И вот он разумом заплатит за простой.

И вот он вызвал ведем

— Лай и гам.

И ликование, вложенное в приподнятые губы: мы вместе с этим едем!

Любовник (с поднятым воротником и блещущими смелостью глазами в тени ворот, где злой стоит младший дворник): Здесь должна пройти Оля. Чорт на помощь! На помощь, милый чорт!

Чорт: Я здесь, молодой человек; что вам угодно от меня?

Молодой человек: Немногого. Ты видишь на углу? Ты понимаешь, здесь толпы съехавшихся с разных концов русской земли девушек истребляют свои права быть нашим небом и справляют те, которые способны обратить ведьм в бегство.

Крашенные кошки и собаки прилежно заменяют соболя расходящихся с учения девушек.

Песнь гуляк: Я пою навстречу тучам
Сном мгновенным, сном летучим,
Именуяте жизни зелье,
Жизни тесна, низка келья.
Но порою слишком жгучим
Взорам тонко покрывало.
Мы напевы смерти учим
До седьмого истин вала.

Одна: Кант... Конт... Кент... Кин...

Молодой господин: Она! (бросается с поднятой рукой).

Чорт: Куда?

Молодой господин: На звезду, купающую свой лик в котле, орошенном кровью.

Чорт: Есть! Вы подымаетесь как два зверя, оставив на земле все ненужное. Среди возгласов: ах! ох! ах! — падаете в обморок.

В чем дело? Не нужно ли здесь присутствие чорта?

Все (с слабым ужасом): Она улетела.

Чорт: Неужели?

Одна: Ах, ее волосы печально порыжели на образе зимней метели. Они улетели. Неужели! Им чужды стыд и страх. Ах... Ах...

(Закрывают лицо руками, и вынув платочки, плачут сидя на снегу).

Чорт: Какие прекрасные книги оставлены ею здесь. Целая куча.

Всё Конт да Кант. Еще Кнут. Извозчик, не нужен ли тебе кнут?

[Извозчик:] А? — У меня и свой есть.

Чорт: Дело! Неужели вся эта гора книг нужна была для сего весьма легкого и незамысловатого полета по этому зимнему звездному небу?

Или это башня для разбега, к которой прибежали все начинающие воздухоплаватели?

Ах, повидимому скоро будет открыто высшее училище передвижения вскачь на лошадях, лицом волочащимся по камням, ногами привязанными к конскому хвосту, хотя некоторые люди говорят, что в старину этот способ передвижения применялся обыкновенно к казни. Но, что хочет погибнуть? — погибнет.

Старуха: А то еще есть город, где камни учатся быть камнями и проходят все три рода образования — высшее, среднее и низшее.

А мостовая учится быть мостовой и что же! — Все люди ходят из предосторожности с отбитыми предварительно носами, а кони, от избытка образования, там трехногие. — Потому что камни ходят и изучают Канта.

Чорт: Да, велик свет и чудны дела его, все не поймешь, да и где понять! Черные службы Наву. Понял? Понял? Добрый чорт?

Понимаешь, люди так захотели быть святыми, что самый злой чорт все-таки немного добрее самого лучшего человека.

Раз, два — ведьма и лешак. Я или она, но полет, полет по сиво-сумрачному небу, где строи труб, где город, кушающий верхки и оставляющий людям корешки, стремится стать тем, чем давно уже умел стать лишай на корнях берез и их ветках.

[Молодой господин:] Полет, чорт возьми, чорт!

Чорт: Слушаюсь ваших приказаний, добрый и благосклонный господин и вместе с тем молодой человек, в котором кровь играет, как когда-то в вселенной божество. А ныне оно утихло.

Молодой господин: Обдумай в мелочах наше предприятие. Опьем эту ночь и эту легкую метель за наше предприятие и будем на „ты“.

Чорт: Я предпочитаю следовать вдохновению. Что же касается „Ты“, „Вы“ плотина пруда, которого мельник „Ты“; и всем, что ни луга, а мельник — бывает виновником их затопления. Однако здесь становится жарко даже и для нас, умеющих жить в пекле. Ты знаешь, кто это? В суслицей остроконечной шапке, в дубленом зипуне, подвязанном зеленым поясом, и притворяющийся пьяным? — Это Перун.

Перун: А мне наплевать, хотите облесить степи виселицами для изменников и обезлесить леса — облесяйте.

Ваше счастье и ваше добро — манная утка для диких товарищей, летящих на гибель. Вот почему она цела, зовет спокон веков на выстрелы. А мне наплевать. Я пришел вас спасти. А не хотите, как знаете.

Старичок: Ведомо, против воли нельзя...

Мальчишка (к Перуну): Дядюшка, а дядюшка, достань воробушка!

Перун: А мне наплевать. Городовой, а городовой, ты хороший человек? а?

Городовой: Некогда мне с тобой разговаривать.

Кто-то: Ух! вот это д-да! (Измученный, останавливается и бежит дальше).

Молодой господин. Как ты думаешь, чорт, много ли сейчас времени?

Чорт: Судя по вашему лицу, я думаю осталось ровно столько, чтобы ко времени появления вашей

обольстительницы ее красота имела нежные очертания скуки.

Молодой господин: В этом есть опасность, мой дорогой.

Чорт: Опасность? Опасны, но я когда-то пас сны! Смотри: в охабне и жемчугами покрытой мурмолке „последний русский“, ты видишь, идет. Не правда ли—его брови приподняты грозой, а на устах змеится недобрая улыбка? О, он предвидит то, о чем бросил пророчество в дубленом зипуне Перун, но кто его слушает? На него только с улыбкой оглядываются и, смеясь, показывают пальцами. Он тоже знает кое-что о лесах, о которых не знал Геродот. Но что это? цветочные войны? Мечи из цветов!? Смотрите, завязывается битва. Обороняются, играя снежками, выходя с книгами в руках, с утомленными лицами, они бросают и храбро ведут битву цветов.

О, в этой битве цветов и я умереть готов!

Здесь есть лица, недурные даже для ведьм. Но есть и ученые.

(Девыцы, сидя на голом снегу и закрыв лицо платочками, плачут).

Чорт: До свидания сестрицы. Мы, может быть, встретимся с вами на болоте, если вам будет когда-нибудь угодно в собирании трав найти приятное и забавное времяпровождение. Не забудьте, впрочем, громко назвать меня по имени. Мое имя несколько страшное, именно оно звучит: „чорт“, но это не значит, чтобы я не был вежливым молодым человеком. Я даже люблю слушать бритого пастора. Что же касается богослужения, то я люблю посе-

щать обедню в день кончины Чайковского. Вы видите, с какой легкостью и притом ничего не требуя взамен, я раскрыл перед вами свое общественное положение. Отвечайте мне тем же и вы; между нами завяжутся отношения, ни к чему не обязывающие, — более призрак, чем вещи, — но всё же изрядная сумка боевых выстрелов против скуки, хандры и других гостей, подражающих заимодавшим в недоверчивости к клятвенным словам прислуги, что хозяев дома нет или, что год уже, как они умерли. И так, еще раз до свидания (кланяется, приподымает шляпу).

Одна из девиц (приподымаясь): Ваше лицо несколько иное, чем у других. Ваши глаза несколько ярче, чем глаза других. Так как дома меня ждет только сухой чай с гороховой дочерью Германии и учебник положения городского населения при Капетингах, то я бы последовала за вами на ваше болото, собирая травы и слушая ваши рассказы, так как мне кажется, что это будет иметь большее значение для самообразования, чем мои обычные вечерние занятия.

Чорт (раскланиваясь): Моя прославленная учтивость побуждает меня сделать всё зависящее от меня, чтобы я отблагодарил вас за ваше общество, которым вы любезно подарили меня далеко превосходящим ваши скромные предположения образом. Другие: И я! и я! (Некоторые отымают от глаз платочки и гордо, не глядя, уходят).

Чорт: О, прекрасные девицы! Клянусь тем естественным дополнением к людям установленного образца, которым меня наделило людское недобро-

желательство, вы найдете в моем болоте более того, чего искали Канты, потому что их искания слишком часто напоминают кусочек зеленой, но единственной колбасы у цветов на окошке.

Одна: Соловьев... Отечественный мыслитель сказал...

Чорт: Да, мы там послушаем и соловьев. Знайте, что недавно я должен был принять ходоков от городских кошек, жалующихся, что несметное количество их сестер погибает от предрассудка, что весенняя песнь кошек, их хвала восходящему солнцу менее приятна, чем песни их вкусных соперников по нарушению ночной тишины соловьев, и что свод законов не ограждает их от летящих чернильниц, — и просящих слезно рассеять этот предрассудок. Но я должен был им указать на ограниченность круга их миропонимания и заявить, что начало кошек, призванных заменить нечто мычащее или только еще хрюкающее (и здесь благородство имеет разделы), — есть мировое начало и восходит до звезд и даже дальше, за пределы сих светил, ибо сам мир, — я должен это заявить голосом твердым и властным, — есть лишь протяжное „мяу“, жаренное и поданное нам вместо благородного „м-му“. Вы видите, что и я бываю способен на потрясение основ.

Одна: Вы несколько порой болтливы, чортик. Вы позволите нам называть вас „чортик“?

Чорт: О да, и заметьте при этом, и с большим удовольствием.

Другие: Если вы завели разговор о кошках только потому, что рассказывали раньше о кошке,

то это доказывает ваш дурной слух и то, что пишете очень скверные стихи.

Чорт: Это обмен рукопожатий в пляске скорой речи?

Одна: Только, ради бога, не упоминайте о коромысле?

Чорт: Я поражен, я побежден, я отступаю перед вашей наблюдательностью, блестящим лезвием вашей мысли. Увы! Зачем отрицать и отпираться, я именно о коромысле хотел упомянуть.

Одна (смотрит на часы): Однако мне нужно итти. Знаете, чортик, когда вы очень волнуетесь, у вас на бровях показываются рожки. (Мужественно, низким голосом, подавая руку) До свидания, чортик, мне нужно итти.

Чорт: Как? вы уходите? уже? Нет, этому не бывать! Где мы? А! здание кн. Дашковой! Милый Геркуля, ты простишь мне, что твое изображение красуется на всех порошках с дровле-овсяной мукой? Да, я винюсь, это была моя злая шутка. Но я думал оказать тебе услугу, что это тебя прославит, когда ты будешь везде в ходу подобный средству, которое слабит. Что? что? Ты недоволен сравнением? Идем, надень мой плащ! Здесь есть два сфинкса... где они? да вот они!

О, благородные и прекрасные создания, неподвижно смеющиеся в течение веков. Вы попадаете в общество, которое будет не менее чутко прислушиваться к вашим метким замечаниям, чем к разглаговльствованию человека с помоста, который умеет рассказать, какой величины был нос у того человека и в котором году вселенная услышала его

„уа“, который вытащил вас, не спрашивая вашего позволения, на свет божий из сияющих песков и блистательно молчит о вас самих. На ваших устах скользит известная доля пренебрежения ко всему земному, но тем приятнее будет вам это небольшое путешествие, так как, уверяю вас, оно состоится в противоречии со всеми земными законами. Вы видите, что на их лицах заиграла улыбка согласия? Но для того, чтобы привести в исполнение свое намерение, им нужно услышать священное слово „ка“. Здесь нет сыщиков?

Ворона: Кар! Кар!

Чорт: Вы видите сфинксы, подобно тюленям, радостно кидаются в воду и, ныряя, плывут? Мы с ними встретимся на пути.

Кто-то: Что здесь такое?

Чорт: Ничего. Это упал в воду снег. Что же касается сфинксов, то они отправились опускать избирательные записки. Кроме того они объявлены неблагополучными по чуме и были увезены скорой помощью.

Кто-то (недоверчиво оглядывается): Ты врешь?

Другой: Тише, это лукавый! Я его сразу узнал.

Чорт: Были тени. Кроме того нам нужно вызвать Геру. Геркуля, кто у вас там есть? (Геркулес наклоняется и что-то шепчет на ухо). Ах, вас представить! Это известный силач, бывший черносотенником давно-давно и ныне снова собирающийся вступить на борьбу с чудовищами.

(Геракл подходит, по очереди пожимает руку).

Все: Ай! ай! И это обещанное возмездие за наше общество? Вы не хорошо отблагодарили нас!

Геракл (тихим голосом): Простите. Я так долго стоял на выступе дворца, я так давно был лишен счастья пожать кому-нибудь руку. Было естественно утратить чувство меры. (С чувством) Простите!

Чорт: Ну, простите его; видите, у него слезы на глазах.

Все: О, мы великодушно прощаем! И кроме того, когда утихнет боль, это делается просто смешно. Вы страдаете дальновзоркостью?

Геракл: О да, я так привык смотреть вдаль. В течение такого долгого времени я должен был стоять на стене и смотреть вдаль. Вы не поверите, что только облака, а также божественная помощь в вычислениях над стаями ворон помогали мне проводить время. Я не хотел, я не мог смотреть на людей, столь легкомысленных, столь не глубоких. Ах, эти вороны! Знаете, они знают достоверно о нашей грядущей гибели. Они даже знают из неизвестных мне источников кое-что о тех, кто придут сменить нас. И при этом, таково свойство этой породы, они надеются устроиться с наименьшим благополучием, чем при нас. О людях же они отзываются с величайшим презрением. О, почему никто не разгадал?

Одни: Как это глубоко! Как это умно, свежо! Вы наверняка предавались размышлениям, стоя у окон? На вашу голову капала вода с крыши; это неприятно, но это вероятно очень освежает голову.

Геракл: Да, я размышлял.

Одна: Не хотите ли надеть мои очки, я тоже дальновозорка.

Геракл: Нет, бледно. О, если вы дадите черные очки, то я предстану ими украшенный.

Одни: Черные очки! Он просит черные очки, у кого они есть? Вот!

Другая: У меня есть. Наденьте... Вот так... Ну, теперь вы настоящий современник. Идемте.

Геракл: Да, я размышлял. Поверите, но среди людей я чувствую себя как живой ивовый прут среди прутьев пошедших на корзину. Потому что живой души у городских людей нет, а есть только корзина. Я живо представляю себе жреца Днаны, с его веселыми блестящими глазами и чувственным красным ртом. Он бы конечно сказал, старый товарищ и пьяница, что между горожанином та разница, которая существует между живым оленем и черепом с рогами. Есть некий лакомка и толстяк, который любит протыкать вертелом именно человеческие души, слегка наслаждается шипением и треском, видя блестящие капли, падающие в огонь, стекающие вниз. И этот толстяк — город. О, как презирают нас вороны и как они зорко видят будущее. Они питают суеверный страх пред калекками. Не значит ли это, что пришельцы будут лишены конечностей? Может быть их губы?..

Одна: Знаете, вы немного все-таки одичали. Всё вороны и вороны. Это ничего, что я вам говорю: одичали?

Геракл: О, что вы, сударыня. Я разрывал чудовищам пасти и нисколько не спрашивал у них на это согласия.

Одна: О, прекрасная невозвратимая Греция! Не правда ли, она мало походит на нашу величавую столицу?

Геракл: Мм... как сказать? О да, там были прекрасные девушки и кроме того, они больше плясали и охотились, чем учились, что было бы сочтено безрассудством и названо безнравственным. Кроме того, этим боялись бы навлечь гнев богов и кару могущественной природы. Д-да... Но что это?.. за нами топот, впереди смятение. Чортик, вы кажется называете его „чортиком“ — чортик скачет на каком-то темном могучем слоне с еще мертвыми глазами и клыками. Опершись о плечо стоит, если не ошибаюсь, Гера.

Странное, загадочное зрелище. Что бы сказал мой приятель Никодим? Он вероятно сказал бы: бывающее бывает наделено в меньшей степени вкусом, чем я.

Чорт: Мой закадычный друг и царевич — мамонт. Он готовился принять престол своего отца, когда вдруг, по неизвестным причинам, весь род их умер, и он, скитаясь, нашел в молодых летах кончину в полузамерзлых болотах Сибири. Кроме того — Гера прошу любить и жаловать. Я умчал его мимо ученых.

Гера: Как противны чувству красоты ваши прически и одежды. Фи! Так одеться не осмелилась бы у нас и рабыня. В противном случае некоторые из вас могли бы выйти недурными гречанками.

Мамонт издает трубный звук, подымая хобот.

Чорт: А вот мы и на болоте, вот лебяжий пух. Сорвите из них венок и украсьте им мертвую голову царевича, который так и не нашел возвещенного ему при рождении престола. О, покройте лобзаннями мертвого друга. (Целует в глаза мамонта).

Г е р а: Страшная участь! Бойтесь, люди, трепещите, ужасное ожидая что-то, люди! Ужасна участь его, его и ему подобных!

Ч о р т: Но где же наши сфинксы? Но вот и они, с гордыми неизъяснимыми улыбками, вынырнули из воды и бодро поставили на берег лапы. Почему они молчат? Вы!.. Говорите!

С ф и н к с ы: Тише! Тише! Он рассердился! фырр...

Ч о р т: И улыбаются!

С ф и н к с ы: И улыбаемся.

Ч о р т: Достойное вас занятие.

С ф и н к с: Мы думаем!

(Гера уходит на частное совещание с спутницами. Через несколько времени они возвращаются одетыми и причесанными по образу богини. Богиня стоит с высокой прической и улыбающимися глазами. Легкая метель плетет на ее теле снежные венки).

Г е р а: О, люди! люди! От лучей зноя нас защищает метель. Если бы вы знали, как мы любим вас, пристально следим за ходом ваших судеб. Если бы вы поняли, что наша божественная власть зависит от вас и вне вас — призрак. О люди, люди, зачем вы покинули нас? (Смотрит на звезды).

М а м о н т (падает на колени и глухо рыдает): И я был царевич! (Глухо рыдает).

Г е р а: Перестаньте вы! О чем вы плачете, скажите...

Стыдно, толстый юноша. Вот на вас белый веночек одет! Вы были царевичем? да? У вас была невеста? Нет? Не надо плакать, дайте я вас поцелую в ваш мертвый невидящий глаз. Не надо плакать. Развешите его чем-нибудь, девушки!

(Девушки ходят вокруг плачущего Мамонта и поют: „Зайка беленький, зайка серенький, поскачи, попляши“, ударяя в ладоши.

Мамонтом овладевает приступ неудержимого веселья; он начинает скакать и плясать и иружиться. Другие стоят и смотрят с улыбкой).

Мамонт: Я вижу! Я прозреваю! Я думаю!

Сфинксы: Он видит! Мы же перестали думать, находя это скучным, и только улыбаемся.

Гера: Да, он все нашел. Он стоит в блаженном безумии. Совьемте ж вокруг него круг из рук и голов, как слабо опьяненные вином рабыни пред своим царевичем.

Сфинксы: Обещанное возвещено.

Гера: Звезды, будьте свидетели союза земли и любви. Звезды, о звезды...

Сумасшедший (с горящими глазами): Все вожде-
лея и им вожденная, стояла девушка на берегу
старого Волоха. Но из протянутой вперед руки все-
ленной обнаженная высунута проволока.

Чорт: Это не живая вселенная, а чучело. Чучело
птицы с мертвым глазом и выходящей из кости
проволокой, — ужасно!

Сфинксы: Это страшно. Над этим мы не умеем
смеяться. Здесь наши улыбки—труссы. В его выкрике
есть какой-то мучительный вызов.

Чорт: Да, его слова страшны, но зато он ни-
сколько не опасен и может остаться. Пусть он
смотрит в глаза мамонта. Смотрите, он смотрит
огненным взглядом на слепые глаза царевича. Смо-
трите, царевич вздрагивает. Закройте все глаза.
Вы не вынесете — это лучи. Царевич видит.

Кто-то: Он и раньше видел.

Чорт: Нет, он только-что сейчас прозрел!.. Бе-
зумец зажег слепца безумным светом своих очей.

Слепец прозрел. Мертвый царевич — видит! Так недополненный кубок божества, пролитый на землю, рождает зрение. Слепой не вынес луча безумия. Учитесь, о учитесь!

Сфинксы: Мы улыбаемся.

Чорт: Рассказывали ли вам что-нибудь подобное учителя?

Все: Нет, дорогой, не рассказывали.

Чорт. Мы невидимы для окружающих. Мы только мрак и струи морева для смотрящих извне. Но мы всё видим. Но смотрите — что за странность!

Вот собирается множество лягушек самых разнообразных, больших и малых, которые образуют гребень волны так, что мельчайшие лягушки подобны пене — и вот, о чудо!

Смотрите! Смотрите! Из пены рождается, возникая, новый жрец искусств — Белокумирный. Какой странный кумир!

„Не содержит ли он, однако, крыс!“

Одна: Ну, мне пора, однако, итти домой. Уже поздно и не близок путь... До свиданья, остроумный чортик!

Чорт: Странное, странное зрелище! Я очаровал им.

Кто-то: Это не бог... Это только выводок молодых лягушат, храбро поющих, каждый на свой лад, песни жизни.

Чорт: Очень может быть. Искусственное заведение для разведения молодых лягушат? Совершенно невинное занятие, друзья, даже без знака вопроса; но почему здесь вопросы принимают очертания бога? Разводка лягушат... ха! ха! ха!

Сверху: А, мы летим на раскатистый голос нашего друга. Нас там не приняли. Нас чуть не посадили в какую-то жидкость нетления, и только чьи-то чары, несмотря на негодование и вопль жрецов, спасли нас от преждевременного бессмертия. Ольга схватила насморк, простудилась. Я от неудобного положения занятого разговорами и полета верхом на облаке схватила головную боль. Кроме того у меня болят зубы. Не знаешь ли, чем помочь? Чорт: Есть средства безусловно сильные. Например, положить руку на огонь. От сильной боли зубы должны утихнуть.

Молодой господин: Ты прав по обыкновению. А это что за не по-нашему одетые особы? Какой у них лихой независимый вид! Фу ты, ну ты! Это наши товарки!

Чорт: О! это одна из шуток, которыми я забавляюсь. Видишь ли, из музея похищены древние и ценные статуи. Пораженные тем, что происходило, они будут некоторое время стоять в оцепенении; мы же приведем на след их разыскивающих. Молодой господин: О чорт, чорт! Ты! обольщаешь всех кроме себя.

Чиновник: Вот они. А вот и воры. Буду стрелять при попытке бегства.

Чорт: Мы не двигаемся. (Все разбегаются кроме очрта и молодого человека). Это было бы слишком, эхучно, если бы у моего правила обманывать были желания. Да! Скучно делать льготы для себя и невинности быть обманутым.

Чиновник: Убежали! В погоню туда, в погоню! Одна из училищ: Мы не знаем в чем дело. Мы

отправились при очень невероятной обстановке.
И вот...

Чиновник: Извините, извините... Я так виноват.
Я прикажу здесь подать вам лошадей. Я стал жертвой недоразумения.

Одна: Да, но как же так?

Чиновник: Извините, извините, сударыни!

Чиновник и молодой господин (одни беседуют).

Молодой господин: Смотрите, видите озеро и охотник за осокой держит за шнурок утку. Это манная утка кричит, и к ней слетаются товарищи и падают мертвыми от выстрелов охотника. Утка кричит, кричит... Что это, сударыня, значит? Я должен размышлять, не страшен ли этот сон — этот повальный полет в смерть. Я тоже был охотником.

Чорт: Ужасна эта охота: где осока — годы, где дичь — поколения.

Молодой господин: Ты говоришь страшные вещи. И твои очи страшны сегодня.

Чорт: А вот девушка подходящая к пропасти, чтобы кинуть нечто лежащее на ладони. Но! Это живое не только живое, но и целый народ. Да, он несом к пропасти, раздираемый междуусобиями. Окруженный жестокими и грозными соседями, он презирает военное ремесло, существующий только своей многочисленностью; он стремится распасться на сословия, разделенные ненавистью. Да! Его пропасть близка и близок раздел между воинственными соседями. О леса, которые не предвидел старик Геродот, вы будете!

Молодой господин: Страшно, что ты говоришь, чорт. Ты сегодня мрачен.

Чорт: Поневоле. О!.. О, я, как раненый олень, ищущий уединения, готов взбежать на отдаленную звезду и с закинутыми рогами простонать истину. В этом есть глубокий смысл, мой друг. О леса, леса, на них качаются не плоды, а люди. Не мимо ли кладбища мы идем? Не страшно ли, что близость кладбища наводит на размышление о природе бессмертия с проткнутой проволокой и стеклянными глазами? Потому что всюду, несмотря на снег, вижу летние, яркие, красные и синие и нежно-глиняные цветы, на таких же сине-зеленых или бледно-желтых широких густых ветках. Земная потуга на бессмертие. Но почему именно родили их глиняные и увядающие цветы? Или это голод бессмертия, зов его, идуший из дупла? Здесь люди за долго до смерти покупают место для своей могилы. И в дни именин — на место последнего покоя и платят сторожу жалованье, чтобы он соблюдал порядок. Так они завоевывают весомой земной рай. Нищия: Бабочки, а бабочки, помянем рабу божию (едят, стоя гурьбой, кутью с изюмом). Подвиньтесь родные, бабочки!

Нищий: Вон господа идут! (Вкрадчиво) Милый барин, дайте за упокой души!

Чорт: Странно, чорт возьми, очень странно. Идете быстрее. Вот дом утолимой печали. Печали по отсутствующему бессмертию.

Утолимый глиняными тяжелыми венками синих незабудок под стеклом с свинцовым днищем и боками! Странно! Очень странно! Вот надпись:

„И настанет великая тишина“. Под ним око с расходящимися лучами. Идемте, люди, быстрей!

Песнь мальчика на кладбище

Ударится сокол о колья
Всем летом соколиной груди,
Упал. Доля соколя.
Сверкает глаз в прозрачном пруде.
Всё ходит около крутых и близких стен,
В походке страшной сокола
Покой преддверием смятен.
Он ходит, пока лов
Не кончен дикой смерти.
О, телом мертвых соколов
Покой темницы смерти!

Чорт: Он кончил. Поприще глиняных цветков под свинцом и чугунной оградой! Мимо знаков! Страшный вывод! Где живые люди с восточными глазами? Кто не хочет смерти, тому не подаем руки. Того мы травим злобными взглядами и усмешками. (Пустырь. Мятель.) Кто этот? Вот один военный, который несет на себе другого.

Русский (с длинными усами, несущий замерзшего человека): Этого пьянчугу я нашел во время своей ежедневной прогулки за городом замерзающим и немощным. Я нес его на плечах три версты и теперь гордый и счастливый, что я могу спасти его, останавливаюсь перед вами, первыми встреченными здесь мной людьми. Помогите мне привести его в чувство и, когда он придет в себя, дать хорошего подзатыльника, чтобы он умел впредь, не за-

мерзая, итти по большой дороге. Я счастлив, что спас его от смерти.

Чорт: Замерзающая! Замерзающий людин! Судя по вашему бескорыстному поступку, высокому росту и отменно-дерзкому выражению лица, вы—отставной воин? Вы спасли его?

Русский: Да, я полковник, я полковник. И я спас его.

Чорт: Я люблю видеть в вещах прообразы. Я люблю сквозь вещи зорким шагом видеть будущее. Вы разгоняете мои мрачные думы... Вы— добрый светлый луч, разогнавший сердечную непогоду. Но спешимте его привести в чувство. Ваша осанка и вид отставного военного заставляют меня снять шляпу и просить позволения пожать вашу руку.

Военный: О да, я отставной военный. При Тырнове мой полк переходил реку по шею в воде, шел лед. Мы сражались за Россию. Немногие остались живыми. У каждого свой нрав. Так со славою мне умирать? Я борюсь только за могилы предков!

Чорт: Нет, я—чорт. Но кто вы? А... Мм— да. Что-ж всякое бывает. Н-да!

Русский: Я протягиваю вам палец руки. Простите мне мой прямой и откровенный вопрос. Но я горд своей прямою и тем, что два раза в лицо назвал одного временщика мошенником. Да я ему прямо в лицо сказал: Вы, ваше превосходительство „мошенник“! Теперь я с удовольствием пожму вашу, простите, честную руку.

Да, я сказал правду, несмотря на то что я, как видите, очень беден.

Я был у него на приеме и так и сказал: „Вы, Ваше превосходительство, мошенник!“ Что? и недурно?

Чорт: Не только недурно но и прекрасно. Прекрасно, и вы—статный старик, несущий на плечах замерзающего пьянчугу. Но повидимому здесь холодно. Знаете что? Оставьте его на наше попечение. Оставьте нам и свое имя, чтобы этот несчастный знал, кому он обязан жизнью, а мы знали, в ком приветствовать приход человека.

Военный: С удовольствием! (дает адрес).

Чорт: О, там бывал! Еще раз вашу прекрасную ручку. Эта рука работала шашкой.

Военный: Бал-дарю... Всего, всего хорошего (идет по снежной дороге).

Чорт: Какая прекрасная личность! И этих людей...

Военный: Я человек решительный. Ко мне раз подошли босяки: „Барин, барин, мы тебя зарезать хотим“. Я им сказал: „Что вы думаете, что я цыпленок вам, что ли? Живой не дамся в руки! Подходите!“ Они попятились и ушли. У меня же ничего с собою не было. Ну, здесь наши дороги расходятся. Бал-дарю!

Чорт: Отведемте этого босяка в чайную и там приведем его в чувство. Эй, половой! (на пьяного указывает).

Половой: Что изволите?

Чорт: Снегу, да всего того, что нужно.

Половой: Слушаюсь.

Чорт: Эти люди могут спасти Россию. Какая открытая и благородная усмешка!

Всегда и везде последним судьей выбирайте зверя. Не правда ли, великолепны эти извозчики со своими рыжими бородами, свежими голубыми глазами и тугими шеями? У многих из них лица властителей. С каким бы презрением отозвался бы зверь о наших! Монашка: Братец, пожертвуйте на построение храма! Братец! Спасибо, дорогой мой! Спасибо родной! Дай тебе бог здоровья! Молодой господин (жертвует).

Чорт: Видел того, чьи глаза то широко темны, то выпуклы и напрягаются? Не правда ли, он безумец? Безумец (вставая и протягивая руку): Вы думаете, что я безумец? Безумец! Да!

Половой (ослабившись): Сумасшедший!

Замерзший (вытирает усы и перестает пить): Благодарю! (подымается и уходит).

Разносчик: Чулки вязаны, рукавицы теплые! Очень дешево, лучший товар!

Половой: Он теперь не замерзнет. Стреляная птица!

Чорт: Но почему опять появляется на сцене чертеж России и слово „Россия“ в страховании? Лишь только он ушел! Страшный человек!

Половой (подходит и пальцем трогает слово „Россия“) Так точно, сударь! Они будто отлучались куда-то, а теперь вернулись.

Чорт (смотря на часы): Однако неотложные дела заставляют меня лишиться вашего общества. Мы встретимся завтра у Кругликовых в 7 часов.

Молодой господин: Да! До свиданья, глубокоуважаемый чорт!

Студент (засыпая над пивом): Отрешился...

Половой (появляясь, строго): Здесь засыпать не полагается.

Студент: А? Кружку!

Сфинксы (появляясь): Кружку!

Сиделец: Черного? Белого?

Сфинксы: Синего. Мы пьем только синее небо.

Сиделец: Как угодно!

Сфинксы (поют): Лапы протягивая друг к дружке,
Мы полним небом синим кружки,
Мы смотрим светло и спесиво,
На все иные пива.
Мир станет небом постепенно,
О, млечный путь, зачем ты пена?
Петь и пить будет,
Кто нашу песню забудет.

Французская

свобода: Я пришла сюда согреться!
Мои завяли крашенные перья,
Холодна и одинока теперь я.
О, куда мне деться?

Ученый (входя и садясь за столик): Меня уморили проклятые ведьмы. Шея болит, ноги болят. Пива и пива!

Сиделец

(с кружкой в руке): Напиток охотно подам.
Пришедшим ко мне господам.
Края пенного стакана широки и
облы,
О, не хотите ли, сфинксы, кусоч-
ка воблы?
Пиво взойдет до Овна и до Рака.—
О не угодно ли, сфинксы, рака?

Пиво не дороже копеек пяти,
Взметнет до млечного пути.
В моем стакане звездная пена,
В обширном небе узнать поднос с пивной
закуской —
Обычай ново-русский!

(Стакан пива принимает размеры вселенной. Посетители заку-
ривают важно трубки, и в их дыме исчезает все—пивная и по-
сетители. Молодой человек выходит на звездную ночь; извоз-
чик пытается проехать... „Садитесь, я подвезу...“)

Молодой господин (высаживается): Ну, здесь
я слезаю...

Сторож: Мост в сказку разобран, господин. Вы
останетесь в сказке до следующего действия.

Молодой господин: А! (поворачиваясь, идет назад).

Сторож (ставя заставу): Проезд в сказку закрыт,
господа.

МАРКИЗА ДЭЗЕС

На днях я плясал.
На этой неделе. Какого дня?
Среда, четверг или воскресенье?
В сидячей жизни это спасенье.
Знакомые, приятели, родня.
Устал. Вспотел. Уж отхожу.
Как вдруг какой-то воин: „Постричься вам
пора-с!“

Сказал и ныр в толпу. Я думал: вот те раз!
Я уже послать ему собрался вызов,
Но не нашел в толпе нахала.
Кроме того здесь нужно было перейти
какую-то межу.

Я в созерцание ушел чьего-то опахала
Из перышек голубеньких и сизых.
Наука-то больно проста: сначала
„милостивый государь“,

А потом свинцом возьми да и ударь.
Да... А потом, глядишь и парня
Несут кромсать в трупарню.

Делкин: Ха-ха, куда он гнет!
Забавник! И не моргнет!

Перховский: Ну, я не трушу.
Это и не странно. Лицом имея
грушу...

Делкин: Я бы хотел под мушкою стоять разок.
Глобов: А правда хороши, последний как мазок,
В руке противника горсть спелой вишни.

Перховский: Ну, тогда и выстрелы немного
лишни

И тот, кто сумрачен как инок,
Тогда у нас портит поединок.

Холст: Е-е-е. Вы правы. Я как-то шел,
Станом стройный сын степей,
Влек саблю и серебро цепей...

Лель (сходя): В взоров море тонучи,
Я стою одетый в онучи.

Все: Он чудо! Он прелесть!
Он милка!
От восторга выпала моя челюсть,
Соседка, передайте мне вилку!

Ценитель: Это тонко. Да! Весьма!
Вы заметили какая нежность письма?

Любитель: Да! Здесь что-то есть!
Не знаете, здесь можно поест?

Писатель: Какой образ, какой образ! Пойду
и запишу.

Любитель: Пойду и чтонибудь перекушу.

Ценитель: Я идучи сюда уже перекусил.
Но он немного здесь перекошил.

Писатель: „Пустыня Хоросеана“.
А это: „Купающаяся Сусанна“.

Художник: Молодец! Молодчинище! Здоровенно!

Писатель: И все так изысканно, изученно
и откровенно.

Бровки, лобик, губки!

Ах, здесь есть даже покупки!

Пожилой господин: Какая прелесть глазами
поросенка смотрит вот с
этого холста.

Я бы охотно дал рублей с пол-ста.
Он в белое во всё одет и лапотъ с онучем
Соединен красивым лыком. Склонения
 местоимения „он“ учим
Могли бы ответить детские глаза спросив-
 шему, чем занято
Ныне дитя. Наступят сроки и главным
 станет то,
Что сейчас как отдаленный гнев и ужас
 мерещится.
Так... Я буду рад когда мое имя с надписью
 „продано“ на этот холст навесится.
Но что? Он подает нам руку! Послушай,
 дорогая, это не полотно,
Что взоры привлекло, как лучшее пятно,
Ну что-же новый друг! Из холста обра-
 жаемого выдем-ка!
Какая милая выдумка
Заставила вас нарядиться в наряды Леля?
Или старинная чарующая маска
Готова по сердцу ударить, как новая
 изысканная ласка?

Лель: Мне так боги Руси велели.

Пожилой господин: Да? Какой вы чудак.
 Вы чудной.

Лель. Кроме того я связан в воле одной.

Пожилой господин: Кем — полькой, шведкой,
 Руси дочью?

Лель: Нет, но звездной ночью.

Когда я обещанье дал расточиться в Руси
 русской рать

И, растекаясь, в битвах неустанно умирать.

И чисто все так, сухо.
Какая тонкая обивка, В цвете — уми-
рающая муха?
Мило, мило. Под живописью в стакан-
чиках расставлены цветки?
Духов бессонных котелки?
Так они зовут? Собаки синей коготки?
Не той ли, которая, живя и паки,
Утратила чутье в душе писателя
с происхождением от собаки?

Спутник: Быть может да, но вот и он...

Маркиза Дэзес: Вы затрудняетесь найти созву-
чье — извольте: бог рати он.
Я вам помощница в вашем
ремесле.

Спутник: Да, он Богратион, если умершие,
оставшие хворать,
И вновь пришедшие к нам людям —
божья рать,
Смерть ездила на нем, как папа на осле.
И он лежал омыленный в гробу.

Маркиза Дэзес: О боже, ужасы какие!
Опять о смерти. Пощадите
бедную рабу.

Спутник: Я уже вам сказал
Той звездной ночью, что я искал,
Надменный, упорно смерти.
Во мне сын высотник.
Но сегодня я уже не вижу очертаний
неуловимой дичи,
Которую я преследовал, вабя и клича,
Дамаск вонзая в шею тура,

Коварство маск срывая в стенах
Порт-Артура.
Неутомимый охотник.
То было в годы, когда Петербурга острие,
как клина
Родной земли пронзало длины.
Родной земле он делал гроб, весну замкнув
под свод порош.
И был ужасен взгляд, шептавший: „не
хорош“.
Я слышу повелительный мне голос: „смерьте“.
Просторы? Ужас? Радость? Рок?
Не знаю. Единый звук сомкнул распутье
двух дорог.

Маркиза

Дэзес: Ах, оставьте... вы все про былое!
Оставьте! Смотрите, я весела, я
воскликнуть готова: „былое долой!“, я.
Смотрите лучше: вот жена, облеченная
в солнце, и только его,
Полулежа и полугреясь всей мощью
тела своего.
Поддерживая глубиной раздвинутого
пальца
Прекрасное полушарие груди, о взоры,
богомольные скитальцы!
Чтобы сестра рогатую сестру горячим
утолить молоком,
Козу с черными рожками и жестким
Как сладок и светом пронизанный, остер
языком.
Миг побратимства двух сестер.

Миг одной из их двух жажды
Сделал мать дочерью, дочь матерью,
родством играя дважды.
Не сетуйте на мой нескладный образ,
Но в этом больше смеха, сударь, а я
по прежнему к вам добра-с (пожимает,
смеясь, руку).

Спутник: Царица, нет — богевна!

Твои движения сегодня так напевны.

Маркиза Дезес (смеясь): Право! вот я не знала!
Но вставайте скорее с
колен. Я подарю вам на
память мое покрывало.
Но тише, тише, сядем
Мы все это уладим.

Спутник: Я знаю, что „смерьте, — кричал мне
голос:—
Ваш золотой и длинный волос“!

Маркиза Дезес: Да. Тише, тише. Слышите, там
смеются. Это — Мейер.
Сядьте сюда. Передайте мне
веер.

Рафаель: Меня звали? Я надеюсь увидеть Вану,
Вия и Микель-Анджело?
(В толпе движение).

Кто-то: Вы пьяница? Отчего у вас такой нос?
Или посвежело?

Рафаель: Я не знаю. Италия
Любит вино, огненно-красное света лия.

Распорядитель (к Рафаелю): А, да, вино!
Да, да! пришли!

Слуга (завикаясь): Рафаель — они изволили, то есть
пришли.

Распорядитель: То-есть как пришли? Ты мелешь братец чепуху!

Слуга: Я перед вами как на духу!

Распорядитель: Но это недоразумение! Может быть вы не туда звонили! Или в самом деле Рафаеля имя шутник присвоил? Или?

Рафаель (с легким поклоном): Мне при рождении святыми отцами имя Рафаеля некогда дано.

Распорядитель: Убил! убил! — вино!
(К слуге):

Олух! Олух! ду...

Рафаель: Я вызвал у вас какой-то переполох, какую-то беду...

Я не думал... Я думал встретить Микель-Анджело.

Распорядитель: Ах, все так вздоржало!
(Пожимая руку Рафаелю)

Ах, я не могу! Я не могу! Здесь путаница вышла.

Во всем вините, пожалуйста, слугу.

Я убегу (убегает).

Слуга: Ишь куда повертывает, таковский, дышло...

Зритель: Да, Санцио, живопись им не нужна. О, они кой в чем другом узнали толк: Строй пушек, готовых жидким, трезвость изгоняя, выстрелить огнем, их хочет полк.

Какого же еще вам надобно рожна?
(Уходит).

Кто-то: О, Рафаель вино и Рафаель другой — улыбка ведем.

Ну что же, в путь обратный — едем.

(Рафаель и незнакомец уходят).

Рыжий поэт: Я мечте кричу: „парн же,
Предлагая чайку Шенье,
Казнецному в тот страшный год
в Париже,
Когда глаза прочли: „чай, ку-
шанье“.

Подымаясь по лестнице
К прелестнице,
Говорю: пусть теснится
Звезда в реснице.
О Тютчев туч! какой загадке
Плывешь один, вверху внемля?
Какой таинственной погадка
Совы тебе, моя земля?

Слуга: Одни поют, одни поют
И все снуют и все снуют
Пока дают живой уют.

(Зрители проходят и уходят. Маркиза Дэзес и Спутник
в боковой горнице).

Маркиза

Дэзес: То отрок плыл, смеясь черными глазами,
И ветки черные усов сливались с звезд-
ными лозами.
Я звездный мир, зная над собой, была
права.
И люди были мне березке как болот-
ная трава
Но что это? Переживаем ли мы вновь
таинственный потоп.
Почувствуй, как жизнь отсутствует, где-
то ночуя,

И как кто-то другой воскликнул: так хочу я!
Люди стоят застыло, в разных ростах, и
улыбаясь.

Но почему улыбка с скромностью ученицы
готова ответить: я из камня и голубая-с.

Но почему так беспощадной без надежды
Упали с вдруг оснегизненных тел одежды!
Сердце, которому были доступны все чув-
ства длины,

Вдруг стало ком безумной глины!

Смеясь, урча и гогоча,
Тварь восстает на богача,
Под тенью незримой Пугача

Они рабов зажгли мятеж.

И кто их жертвы? мы те же люди, те ж!

Синие и красно-зеленые куры

Сходят с шляп и клюют изделье немчур

Червонные заплаты зубов,

Стоящих, как выходы гробов.

Вон скаля зубы и перегоня скачет

горностаев снежная чета,

Покинув плечи, и ярко-сини кочета.

Там колосится пышным снопом рожь.

И лица людей передают ей дрожь.

Щегленок вьет гнездо в чьем-то

изумленном рте.

И все приблизилось к таинственной черте.

Лапки, ставя вместе, особо ль,

Там скачет чей-то соболь.

Щегленок — сын булавки!

И все приняло вид могильной лавки!

Там в живой и синий лен

Распались тела кружева.
И взгляд стыдливо просветлен,
Той, которая внизу камень, взором жива.
Все стали камнями какого-то сада,
И звери бродят беспечные и беззаботные
среди них — какая досада!

В ее глазах и стыд и нега
И ответ бледный от другого берега.
Пощадою оставлен легкий ток
Полузаслоня вид нагот.

Взор обращен к жестокому Судье.
Там полубоязливо стонут: бог,
Там шепчут тихо: гот,
Там стонут кратко: дье!

Это налево. А направо люди со всем
пылом отдались веселью,
Не заметив сил страшных навоселья.

Спутник: Бежим! Бежим отсюда, о госпожа!
Маркиза Дээс: Но что это? Ты весь дро-
жишь? Ты весь дрожа?
Но спрашивать не буду. Куда
же мы идем, мой „мой“?

Спутник: В счастье, в счастье, божество, спа-
сающее глаз тьмой!
Мои имения мне принесут земную мощь!
В „вчера“ мы будем знать улыбку тещ.
Но нет! не скучно ли быть рабом по-
корным суток.
Нет, этот путь, как глаз раба, печаль-
ный, жуток!
Убийца вещей, я в сердце миру нож
свой всуну!

Божество. Стать божеством. Завидо-
вать Перуну.

Я новый ужас влагаю в „смерть“.
Повелевая облаками, кидать на землю
белый гром...

Законы природы, зубы вражды ощерьте!
Или несите камни для моих хором.

Собою небо, зори полни я,
Узнать, как из руки дрожит и рвется
молния.

Маркиза Дэзес: Успокойся, безумец, успокойся!

Спутник: Сокройся, неутешная, сокройся!
Твоя печаль и ты, но что ты рядом с
роком значишь?

Маркиза Дэзес: Но ты весь дрожишь? Ты
плачешь?

Спутник: Так! Я плачу. Чертоги скрылись, вол-
шебные, с утра.

Развеяли ветра. Над бездною стою.

Не „ять“ и „е“, а „е“ и „и“!
Не „ять“ и „е“, а „е“ и „и“! Голос
не умолкший смерти.

Кого — себя? Себя для смерти! Себя,
взиравшего! о верьте, мне поверьте!

Маркиза

Дэзес: Ты мрачен, друг. Бежим, бежим!

Слышишь, как умолко странно все во-
круг, и в тишине внезапной нарастая,

Бежим, — сейчас войдут к нам горностаи.
И заструятся змейки узких тел.

О бежим, бежим? Ты не можешь? Ну,
тогда я одна бегу!

Я не Дзес. Я русская, я русская,
поверь!

Дай я тебя на прощанье поцелую.

Сейчас! Сейчас. Бегу. Бегу. Бегу.

Еще последний раз. Нет, что сделал ты
со мной? Я не могу!

Что сделал ты со мною, бедной?

Я не могу уйти от тебя: покорная тебе.

Спутник: Бог от „смерти“ и бог от „смерьте“!

Маркиза Дзес: С твоей руки струится мышь.

Перчатка с писком по руке бежит. Какая резвая
и нежная она! Так, что-то надвигается! Я уже
дрожу. Но подавляю гордо болезненную улыбку уст.

Спутник: Бежим!

Маркиза

Дзес: Хорошо. Я бегу. Но я не могу.

Жестокий! что ты сделал? Мои ноги
окаменели!

Жестокий, ты смеешься? Уж не созвучье
ли ты нашел „Нелли“?

Безжалостный прощай! Больше я уже
не в состоянии подать тебе руки, ни ты
мне. Прощай!

Спутник: Прощай. На нас надвигается уж что-то.
Мы прирастаем к полу. Мы делаемся единое с его
камнем. Но зато звери ожили. Твой соболь под-
нял головку и жадным взором смотрит на обна-
женное плечо. Прощай!

Маркиза Дзес: Прощай! Как изучено и
стройно забегали горностаи!

Спутник: С твоих волос с печальным криком
сорвалась чайка.

Но что это? Тебе не кажется, что мы сидим на прекрасном берегу, прекрасные и нагие, видя себя чужими и беседуя? Слышишь?

Маркиза Дэзес: Слышу, слышу! Да, мы разговариваем на берегу ручья. Но я окаменела в знаке любви и прощания, и теперь, когда с меня спадают последние одежды, я не в состоянии сделать необходимого движения.

Спутник: Увы, увy! Я поднимаю руку, протянутую к пробегающему горностаю.

И глаз, обращенный к пролетающей чайке. Но что это? и губы каменеют, и пора умолкнуть. Молчим! Молчим!

Маркиза Дэзес: Умолкаю...

Голос из другого мира: Как прекрасны эти два изваяния, изображающие страсть, разделенную сердцами и неподвижностью.

— Да. Снежная глина безукоризненно передает очертания их тел.

— Ты прав. Идем в курильню!

— Идем. (Идут). Я то же предложить хотел.

МИРСКОНЦА

I

Поля: Подумай только: меня, человека уже лет 70, положить, связать и спеленать, посыпать молью. Да кукла я, что ли?

Оля: Бог с тобой! Какая кукла!

Поля: Лошади в черных простынях, глаза грустные, уши убогие. Телега медленно движется, вся белая, а я в ней точно овощ: лежи и молчи, вытянув ноги, да посматривай за знакомыми и считай число зевков у родных, а на подушке незабудки из глины, шныряют прохожие. Естественно я вскочил, — бог с ними со всеми! — сел прямо на извозчика и полетел сюда без шляпы и без шубы, а они: „лови! лови!“

Оля: Так и уехал? Нет, ты посмотри, какой ты молодец! Орел, право — орел!

Поля: Нет, ты меня успокой, да спрячь вот сюда в шкаф. Вот эти платья, мы их вынем, зачем им здесь висеть? Вот его я надел, когда был произведен, — гм! гм! дай ему царствие небесное, — при Егор Егоровиче в статские советники, то надел его и в нем представлялся начальству, вот и от звезды помятое на сукне место, хорошее суконце, таких теперь не найдешь, а это от гражданской шашки место осталось, такой славный человек тогда еще на Морской портной был, славный портной. Ах, моль! Вот завелась, лови ее! (Ловят, подпрыгивая и хлопая руками). Ах, озорная! (Оба ловят ее). Всё, бывало, говорил: „Я вам здесь кошелек пришью из самого

крепкого холста, никогда не разорвется, а вы мой наполните, дай бог ему разорваться!“ Мошь! А это венчальный убор, помнишь, голубушка, Воздвиженье? Так мы всё это махоркой посыплем и этой дрянью, что пахнет и плакать хочется от нее, и в сундук положим, запрем, знаешь, покрепче и замок такой повесим хороший, большой замок; а сюда, знаешь, подушек побольше, дай периновых — устал я, знаешь, сильно — чтобы соснуть можно было, что-то на сердце тревожно: знаешь, такие кошки приходят и когти опускают на сердце, сама видишь все неприятности: коляска, цветы, родные, певчие — знаешь, как это тяжело! (хнычет). Так, если придут, скажи: не заходил и ворон костей не заносил, и, что не мог даже никак прийти, потому что врач уже сказал, что умер, и бумажку эту, знаешь, сунь им в самое лицо и скажи, что на кладбище даже увезли проклятые и что ты не причем и сама рада, что увезли, бумага здесь главное, они, знаешь, того, перед бумагой и спасуют, а я... того (улыбается), сосну. Оля: Родной мой, заплаканы глазки твои, обидели тебя, дай я слезки твои этим платочком утру! (поднимается на цыпочки и утирает ему слезы). Успокойся батюшка. Успокойся, стоит из-за них, проклятых, беспокоиться, улыбнись же, улыбнись! на, рябиновку налью: вот выпей, она помогает, вот мятные лепешки, и свечку возьми в черном подсвечнике, он тяжелее. (Звонок.)

Поля: А это от моли насыпь в сундук (прыгает с подсвечником в руке. Она с победоносным видом запирает на ключ, оглядывает и подбоченясь выходит в переднюю).

Голос в передней: Доброе утро! М-м э-э!

Па... Нико... э э?

Оля: Царство ему небесное! Вот... хмык, хмык... (плачет) увезли, спрятали. Увезли, а он сердечный — живёхонек!

Голос в передней: То-есть? Э-э! — тронулась старуха, совсем рехнулась! Э-э? — это чудо, это э-э, можно сказать случай!

Оля: Умер, батюшка, умер, с полчаса только, ну, что мне старой божитья: ногами в гробу... А он умер, честное слово, а вы может быть куданибудь торопитесь, спешите, а? А то посидите, отдохните, если устали, уж уйду свечу поставить, знаете обычай, вы отдохните, посидите в гостиной, покурите, а ключа не дам ни за какие смерти: режьте, губите, волоките на конских хвостах белое тело мое, только не дам ключа, вот и весь сказ. Посидите в гостиной, не бойтесь...

Он: Того...

Оля: Да вы не спешите, куда же вы торопитесь? Ушел таки... А странный, говорит, случай. (Стучит ключом в шкаф). Ушел, соглядатай проклятый, уж я и так и так...

Поля: Что? ушел?

Оля: Ушел родной.

Поля: Ну и слава богу! И хвала ему за то, что ушел. А я сижу здесь, да думаю: что́ и как оно обернется, а оно все к лучшему.

Оля: Уж я ему: „да вы куда-нибудь торопитесь, может быть спешите“. А ему всё невдомек, прости господи! Да ты выдь, батюшка. Опять звонок! И отпирать не буду: прямо скажу — больна, да при смерти! Кто там? (Неясный ответ).

Больна, сударь мой, больна!

Голос неизвестного: Я врач.

Оля: А у меня, сударь, такая болезнь, что увижу врача или метла в руку прыгает или кочерга, а то воды кувшин, или еще что хуже.

Голоса за дверью: — Что? — Повидимому! Как быть?

— А бог с ней! нам то что?

— Пусть себе ездит на помеле!

Оля: Ушли, удалой мой, ушли.

Поля: Что-то глуховат...

Оля: Я им метлой, как тут не уйти? (отпирает ключом дверь, накрывает на стол). Уедем в деревню... не хорошо: певчие, чужие люди, лошади в шляпах.

II

Старая усадьба. Столетние ели, березы, пруд. Индюшки, куры. Они идут вдвоем.

Поля: Как хорошо, что мы уехали! до чего дожили: в своем доме пришлось прятаться... Послушай, ты не красишь своих волос?

Оля: Зачем? а ты?

Поля: Совсем нет, а помнится мне, они были седыми, а теперь точно стали черными.

Оля: Вот, слово в слово. Ведь ты стал черноусым, тебе точно 40 лет сбросили, а щеки как в сказках: молоко и кровь. А глаза — глаза чисто огонь, право! Ты писанный красавец, как говорили деды в песнях старых! Что за притча такая?

Поля: Ты видишь, кстати наш сосед приехал к нам и об естественном беседует подборе с Надюшей. Смотри да замечай: не быть бы худу.

Оля: Да, да и я заметила. А Павлик бьет баклуши, пора учиться отдавать.

Поля: К товарищам: пускай собьют толчками и щипками пух нежный детства. Не дай бог, чтоб вырос маменькин сынок.

Оля: Ну уж пожалуйста! Помнишь ты бегство без шляпы, извозчика, друзей, родных, тогда он вырос и конский колыхался хвост над медной каской и хмурые глаза смотрели на воина лице угрюмом, блестя огнем печально дорогим, а теперь пух черный на губе, едва-едва он выступает, как соль сквозь глину, — опасная пора: чуть-чуть не доглядишь и кончено!

(Подходит Петя с ружьем и вороном в руке).

Петя: Я ворона убил.

Оля: Зачем, зачем? кому же надо?

Петя: Он каркал надо мной.

Оля: Обедать будешь ты один сегодня. Запомни, что ворона убив, в себе самом убил ты что-то.

Петя: Я сыт: я сливки пил у Маши.

Оля: У Маши?.. Завтра ты уедешь!

Поля: Да, сударь, рано, очень рано!

Петя: И хлеба черный кус она мне принесла.

Поля: Пора служить!

Петя: Кому, чему? себе согласен, а также милым мне!

Поля: Приятно слышать! А, происхождение видов! добро пожаловать к нам в гости! Нинуша, Иван Семенович здесь! Не правда ли, что у обезьян в какой-то кости есть изьян? Мы не ученые, но любит старость начитанных умы.

Оля: Ушли куда-то...

Поля: Как будто бы в беседку. Опасная соседка!

Поля: Беседка, м-м, пора, пора!

(Появляется сияющая Нинуша).

Нинуша: Он, он! (Отвечая на молчаливый вопрос говорит:) Да, да!

Нина: Он начал про Дарвина, а кончил так невинно: „На небе солнце есть, а после я имею честь“... и сделался совсем иной и руку поцеловал слюной.

Поля: Я очень рад, я очень рад, будь весела, здорова, умна, прекрасна и сурова.

Нина: Об этом знала я тогда, когда сидели мы в саду на той скамье, где наши имена в зеленой краске вырезаны им, и наблюдали сообща падающих звезд прекрасный рой и козодой журчал вдали и смолкли шопоты земли.

Поля: Давно ли мы, теперь они, а там и вы — так всё сменяется на свете.

Нина: Но видишь, он стоит под деревом, и я скажу ему „согласна“. Согласен? (хватает за руку).

Поля: М-м-м!

III

Лодка, река. Он вольноопределяющийся

Поля: Мы только нежные друзья и робкие искатели соседств себе и жемчуга ловцы мы в море взора, мы нежные, и лодка плывет, бросив тень на течение; мы наклоняясь над краем, лица увидим свои в веселых речных облаках, пойманных неводом вод, упавших с далеких небес; и шепчет нам полдень: „о, дети!“ Мы, мы — свежесть полночи.

IV

С связкой книг проходит Оля и навстречу идет Поля. Он подымается на лестницу и произносит молитву.

Оля: Греческий?

Поля: Грек.

Оля: А у нас русский.

(Встречаются через несколько часов).

Оля: Сколько?

Поля: Кол, но я, как Муций и Сцевола, переплыл море двоем и, как Манлий, обрек себя в жертву колам, направив их в свою грудь.

Оля: Прощай.

V

Поля и Оля с воздушными шарами в руке, молчаливые и важные, проезжают в детских колясках.

ГОСПОЖА ЛЕНИН

Действующие лица:

Голос Зрения. Голос Слуха. Голос Рассудка. Голос Внимания.
Голос Памяти. Голос Страха. Голос Осязания. Голос Волн.

Время действия — 2 дня в жизни г-жи Ленин, разделяемые
неделей.

Сумрак. Действие протекает перед голой стеной.

Действие 1-е

Голос Зрения: Только-что кончился дождь, и
на согнутых концах потемневшего сада висят капли
ливня.

Голос Слуха: Тишина. Слышно, что кем-то отво-
рется калитка. Кто-то идет по дорожкам сада.

Голос Рассудка: Куда?

Голос Соображения: Здесь можно идти только
в одном направлении.

Голос Зрения: Кем-то испуганные поднялись
птицы.

Голос Соображения: Тем же, кто отворил
дверь.

Голос Слуха: Воздух наполнен испуганным
свистом, раздаются громкие шаги.

Голос Зрения: Да, своей неторопливой по-
ходкой приближается.

Голос Памяти: Врач Лоос. Он был тогда, не
очень давно.

Голос Зрения: Он весь в черном. Шляпа низко
надвинута над голубыми смеющимися глазами.

Сегодня, как и всегда, его рыжие усы подняты к глазам, а лицо красно и самоуверенно. Он улыбается, точно губы его что-то говорят.

Голос Слуха: Он говорит: „Добрый день, г-жа Ленин!“ А также: „Не находите ли вы, что сегодня прекрасная погода?“

Голос Зрения: Его губы самоуверенно улыбаются. У него на лице ожидание ответа. Его лицо принимает строгий вид. Его лицо и рот принимают смеющееся выражение.

Голос Рассудка: Оно делает вид, что извиняет молчание; но я не отвечу.

Голос Зрения: Его губы принимают вкрадчивое выражение.

Голос Слуха: Он снова спрашивает: „Как ваше здоровье?“

Голос Рассудка: Ответ ему: „Мое здоровье прекрасно“.

Голос Зрения: Его брови радостно шевельнулись. Лоб наморщен.

Голос Слуха: Он говорит: „Надеюсь...“

Голос Рассудка: Не слушай, что он говорит. Скоро он будет прощаться. Скоро уйдет.

Голос Слуха: Он продолжает все еще что-то говорить.

Голос Зрения: Губы его не перестают двигаться. Он смотрит мягко, просяще и вежливо.

Голос Догадки: Он о чем-то нужном говорит.

Голос Рассудка: Пускай говорит. Он не получит ответа.

Голос Воли: Он не получит ответа.

Голос Зрения: Он удивлен. Он делает движение рукой. Несмелое движение.

Голос Рассудка: Необходимо подать ему руку, несносен обряд.

Голос Зрения: Его черный котелок плывет в воздухе, поднялся и опустился на русые кудри. Он повернулся черными прямыми плечами, на которых оставшаяся от щетки белая пылинка. Он удаляется.

Голос Радости: Наконец.

Голос Зрения: Он, темнея, мелькнул за деревьями.

Голос Слуха: Слышу шаги в конце сада.

Голос Рассудка: Он не придет сюда снова.

Голос Слуха: Калитка стукнула.

Голос Рассудка: Скамейка влажна, прохладна, и все тихо после дождя. Ушел человек—и опять жизнь.

Голос Зрения: Мокрый сад. Кем-то сделанный чертеж круга. Следы ног. Мокрая земля, мокрые листья.

Голос Разума: Здесь страдают. Зло есть, но с ним не борются.

Голос Сознания: Мысль победит. Ты, одиночество, спутник мысли. Нужно избегать людей.

Голос Зрения: Прилетевшие голуби. Улетевшие голуби.

Голос слуха: Открылась снова дверь.

Голос Воли: Я молчу, я избегаю других.

Действие 2-е

Голос Сознания: Шевельнулись руки, и пальцы встречают холодный узел рубашки. Руки мои в плену,

а ноги босы и чувствую холод на каменном полу.

Голос Слуха: Тишина. Я здесь.

Голос Зрения: Синие и красные круги. Кружатся, переходят с места на место. Темно. Светильники.

Голос Слуха: Опять шаги. Один, другой. Они громки, потому что кругом тишина.

Голос Страха: Кто?

Голос Внимания: Шли туда. Изменили направление. Идут сюда.

Голос Рассудка: Сюда — только ко мне. Они ко мне.

Голос Слуха: Стоят. Все тихо.

Голос Ужаса: Двери скоро откроются.

Голос Слуха: Щелкает ключ.

Голос Страха: Ключ отвертывается.

Голос Рассудка: Это они.

Голос Сознания: Мне страшно.

Голос Воли: Но все же слово не будет произнесено. Нет.

Голос Зрения: Дверь раскрылась.

Голос Слуха: Вот их слова: „Госпожа больная, будьте добры перейти. Господин врач приказал“.

Голос Воли: Нет.

Голос Сознания: Буду молчать.

Голос Зрения: Они обступили.

Голос Осязания: К плечу прикоснулась рука.

Голос Воспоминания:..... белому когда-то.

Голос Осязания: Пола коснулись волосы.

Голос Воспоминания: черные и длинные.

Голос Слуха: Они говорят: „Держи за голову, возьми за плечи! Неси! Идем!“

Голос Сознания: Они несут. Все погибло. Мировое зло.

Голос Слуха: Доносится голос: „Больная все еще не переведена?“ — „Никак нет“.

Голос Сознания: Все умерло. Все умирает.

ОШИБКА СМЕРТИ ТРИНАДЦАТЫЙ ГОСТЬ

Действующие лица: Барышня - Смерть, 12 посетителей и 13-й посетитель.

Место действия: харчевня веселых мертвецов-трупов с волюнкой в зубах.

Барышня - Смерть: Друзья! Начало бала Смерти. Возьметесь за руки и будем кружиться.

Запевало: В шали шалый шел,
Морозный слышу скрежет,
Трещит и гнется пол,
Коготь шагающий нежит.
Ударим, ударим опять в черепа,
Безмясяя пьяниц толпа.
Там, где вилось много вервий
Нежных около висков,
Пусть поют отныне черви
Песней тонких голосков.
Мой череп по шов темянной
Расколется пусть скорлупой,
Как друга стакан имяной,
Подыметя мертвой толпой.
Жив ли ты, труп ли ты, пой-ка!
Да славится наша попойка,
Пусть славится наша пирушка,
Где череп веселых — игрушка,
И между пирушки старушка,
И с пьяною рожей, старец веселья,

Закутан рогожей, — он князь ново-
селья!

Все, от слез до медуницы,

Все земное будет „бя“.

Корень из нет-единицы

Волим вынуть из себя.

Довольно! (останавливает круг).

12 г о с т е й: Теперь что делать, барышня-Смерть?

Б а р ы ш н я

С м е р т ь: Ты часы? Мы часы!

Нет, не знаешь ни аза,

Кверху копьями усы,

И закрой навек глаза!

Там, где месяц над кровлей повис,

Стрелку сердца на полночь поставь

И скажи: — остановись!

Все земное — грезь и явь.

В старинном сипе

Ночных дверей

Погибни, выпей,

Умри скорей.

Как бусы ниток,

Виденья дней

Рассыпь, нишкни так,

И стань бледней.

Бледней и шатайся...

— Окончим бал смерти, господи! Я
уста́ла. Я сяду.

Мы летели, мы дышали

И на теле эти шали,

Точно птицы, пав на снег,

Подымая нас на смех,

Звали есть обед из нег.
Вот. Тот мот, —
Кто-то, что лучше
За гробом чарующей тучи.

(Берет соломинку и пьет вишневый сок из стеклянного стакана. 12-ть гостей делают то же. Длинный стол, крытый белым. В стаканах красное, темное).

П и р

Барышня Смерть (сосет красную сладкую воду; в губах ее соломинка золотистая, узкая): Мне дайте голову Олега, — мой милый, храбрый мальчик (пьет и задумывается). Эй! Дайте лед! У некоторых черепов черные губы.

Смерть (зевает): Эй! белые чары! К ужину, господа! (медленно встает и уходит в дверь).

Смерть: Мне показалось, там у дверей стоит этот мальчик.

(Медленно снимает с соломинки чехол. И в белом вся бродит с хлыстом среди гостей. Укротительница среди своих зверей. Чаши — с глиняно-желтыми надбровными дугами и серыми скулами — около гостей. Стук в двери).

Барышня

Смерть: Кто там, кто там в этот час?
Кто прильнул сюда, примчась?
Дружок, отворите двери — вам ближе;
а вы передайте мой хлыст, — вот он там.
Так безумен и неистов,
Кто стучится в темный выстав?
На горящее окно
Его бурей принесло?

Голос: Эй! Отворите!

Барышня

Смерть: Он сюда стучит опять,
Он сюда вошел, скользя.
Нас всего... Четыре, пять...
Он — тринадцатый, нельзя!
Иль немой сказал: „агу“,
Иль он молвил: „не могу“,
Он вошел и стал под притолкой.
Милый, милый его вытолкай.

Вошедший: Эй! Торговка смертью!
Я не читал про город Глупов,
Но я вижу много бледных трупов.
Они милы, они милы,
В когтях смеющейся плутовки,
Их губы — скорые винтовки,
Но лица их мелы, мелы.

— Они молчат, они умерли, как огонь брошенный
на снег и лица их белы, как пятно мела на стене.
Да, это харчевня мертвых гуляк. Вот куда я попал.
Я также хочу быть сытым всем, чем здесь сыты
эти белые, эти меловые у стен. Некоторые из них
еще шевелятся: так мухи умирают на цветке —
лениво и с неохотой.

Слушай! (Сгибая шашку): Я тринадцатый, тоже хочу
пива мертвых. Мне нравится моя греза.

Приходит Сон: одни ложатся и шепчут „няня“, другие „братец“
и что-то бормочут и ворчат.

Слушай! Я требую пива мертвых: его напились
эти белые, эти меловые у стен. Струятся, как
оплывшая свеча, их одежды, и у всех пол-ореха
в руках.

Эй! Я приказываю!

Барышня Смерть: Слушаю, барин; да как же это сделать, стакана нет свободного?

Вошедший: Это не мое дело. Я приказал, я покупаю в харчевне мертвецов глоток кубка смерти.

Барышня Смерть: Ах ты, напасть какая! На рынок что ли пойти?

Вошедший: Ни снежинки совета и помощи.

Барышня Смерть: Уж очень ты подозрительный человек — вот что, верно говорю.

Вошедший: Да, или ты лишаешься права торговли смертью навсегда и повсюду.

Барышня Смерть: Вот какой строгий. (Надевает платочек). И в правду беда. Ну, чего смотришь, проклятый? В харчевне мертвецов нельзя пить чужими стаканами.

(Среди мертвецов некоторое оживление и у некоторых за меловой маской — огонь живых. Они шевелятся концами бровей, рта).

Барышня Смерть (берет хлыст): Назад, проклятые! Назад, в смерть! (Щелкает хлыстом). На кого теперь их оставляю? Сидите смирно (уходит).

Двенадцать, которые прилипли к стенам, как скамья мертвых, оживают; некоторые зажигают спички: „позвольте закурить“ — „благодарю вас“. Другие сладко позевывают, потягиваясь: „ох-хо-хо!“

Барышня Смерть: Нет дома соседки. А здесь все повскакали. Уйди ты! что надо? Еще зарубит.

Тринадцатый: У меня ни капли сострадания. Я весь из жестокости.

Смерть (перебегает к двенадцати и усаживает их): Сидите, ястребы. Голову я потеряла.

Тринадцатый: Я, тринадцатый, спрашиваю — голова пустая?

Барышня Смерть: Пустая, как стакан.

Тринадцатый: Вот и стакан для меня. Дай твою голову.

Барышня Смерть: Вот не соображу, что делать; будь полная, знала бы.

Тринадцатый: Идет?—Ставка на глупость смерти.

Барышня Смерть: Идет.

Тринадцатый: Ты стояла когда-то на доске среди умных изящных врачей и проволока проходила кости и выходила в руку, в паутине, а череп покрыт надписями латыни. Ну?

Барышня Смерть (погупившись): Да. Нас было три на цепи.

Тринадцатый: Отвинти свой череп. Довольно! Чаша тринадцатого гостя. А вместо него возьми мой носовой платок. Он еще не очень грязен и надушен (равворачивает).

Барышня Смерть: Повелитель! Ты ужаснее, чем Разин. Хорошо. А нижнюю челюсть оставь мне. На что тебе она? (Закидывает косы и отвинчивает череп, передает ему) Не обессудь, родимой.

Тринадцатый (передает носовой платок): Не обессудь, родная.

Барышня Смерть: С носовым платком плохо видно. Сам налеп себе. В черном боченке, в черном твоя вода. Слушай! не обмани меня! Как женщина, когда ее ведут в застенок, обнимает ноги палача, так я обнимаю и целую твои. Я ослепла. Я не вижу. Мой череп у тебя, у силача.

Тринадцатый: В первый раз в жизни я очень тронут таким добросердечным раскаянием. Смерть валяется в ногах у меня.

Двенадцать посетителей: Ты не обманешь, но мы обманем: мы невольники у стены, в глазах у которых скоро будет по государству червей, мы, заклинаем: обмани!

Барышня Смерть: Я не увижу ни букашек, ни пира в харчевне: горе мне, я слепа, я обнимаю ноги — ты хотел, угрожал, требовал квас мертвых. Он в боченке, а мой в голубом. Не перемешай их. Смотри: дочь могил — как березовый веник у твоих ног — молит и заклинает. А если ты маятник между да и нет, - то, то имей сердце!

Тринадцатый: Ты сама нальешь напитки.

Барышня Смерть: Но где мой череп? Где глаза? Слушай, я знаю, ты победил. (Ищет голову). Что теперь мне подскажет мой носовой платок? — ничего! Я победила или умираю? (Вскакивает) Больше свиста свирелей из берцовых костей человека! Треска позвонков! Ударов в тазы. Больше лютней из узких мизинцев. Вы, двенадцать, вы хитро перешептываетесь! Среди вас я бродила с хлыстом. Теперь тоже не растерзаете меня. Прочь! Прочь!

О, черепа, играйте в лютни!

О, кости, бейте в балалайки!

Я налью две чаши жизни и смерти и сделаюсь иной, невкусной, беленой у дороги. Теперь выбирай.

Тринадцатый: Сама выбери.

Барышня Смерть: Я слепа.

Тринадцатый: Поэтому и выбери.

Барышня Смерть: Я пью, — ужасный вкус. Я падаю и засыпаю. Это зовется ошибкой барышни-Смерти. Я умираю (падает на подушки).

Двенадцать оживают толчками по мере ее умирания.

Веселый мир освобожденных.

Барышня Смерть (подымая голову): **Дайте мне „Ошибку г-жи Смерти“.** (Перелистывает ее) **Я все доиграла** (вскакивает с места) **и могу присоединиться к вам. Здравствуйте, господа!**

Туда, туда,
 Где Изанаги
 Читала Моногатори Перуну,
 А Эрот сел на колена Шанг-Ти,
 И седой хохол на лысой голове бога
 Походит на ком снега, на снег;
 Где Амур целует Маа Эму,
 А Тиен беседует с Индрой;
 Где Юнона и Цинтекуатль
 Смотрят Корреджио
 И восхищены Мурильо;
 Где Ункулункулу и Тор
 Играют мирно в шахматы,
 Облокотясь на руку,
 И Хоккусаем восхищена Астарта —
 Туда, туда!

9 — V 1919

Где Ункулункулу — бревно с глазами удивленной рыбы. Их выковырял и нацарапал нож. Прямое жестокое бревно и кольца нацарапанных глаз.

Тиен — старик, с лысым черепом, с пушистыми кустиками над ушами, точно притаились два зайца. Его узкие косые глаза похожи на повешенных за хвосты птичек.

А Маа Эму — морская дикарка, с темными глазами цвета морского вечера, могучая богиня, рыбачка дикарка, прижимающая к груди морского соменка.

Шанг-ти — седой бородач, спотыкающийся в своей бороде.

Индра — могучая дева с зарей облаков на волосах. В черном поясе лесных цветов на теле.

Небесная баба — Юнона — облаком сизым ноги закрыла, четками утренних нег облаков.

Тор — старик с снежной бородой роящихся пчел. Снежные пчелы — вихри бороды, липовый улей — лицо, два летка — глаза.

Боги:

Юнона, одетая лозою хмеля, напилком скоблит белоснежные
каменные ноги.

Ункулункулу прислушивается к шуму жука-дровосека, прото-
чившего ходами бревно деревянного бога:

Цинтекуатль — мысленно ловит личинку комара, плавающую
в лужице воды в просверленной голове бога.

Венера — ставит на своих белокаменных плечах свежую за-
платку, посвятив время починке белого камня любви.

Шанг-ти — смывает с черепа облако копоти. Как зайцы, над
ушами висят два снежных клока седины.

Тиен — гладит угогом свои длинные, до земли, волосы, ставшие
его одеждой.

Астарта — стоит у водопада и держит около груди маленького
сома.

Изанаги — надевает на себя на плечи нить серебряных рыбок.

Эрот: Юнчи, Энчи! пигогаро!

Жүри кйки: синь сонэга, апсь забйра
милючй!

(Впугывает осу в седые до полу волосы старика Шанг-ти).

Плянч, пет, бек, пиройзи! жабурй!

Амур (прилетает с пчелой на нитке — седом волосе из одежды

Шанг-Ти): Синоана — цицириц!

Летает с пчелкой, как барин с породистой собакой). Пичи-
рйки — чиликй. Эмзь, амзь, умзь!

Юнона (натирает белые снежные волосы желтым цвет-
ком луга):

Гели гүга грам рам рам.

Мүри-гүри рикокò!

Сипль, цепль, бас!

Эрот (колотит ее по белым плечам длинным колосом осоки):

Хахиюки! хихорд! эхи, ахи, хи!

Имчирйчи чуль буль гўль!

Мўри мўра мур!

Юнона: Чагеза! (отстраняет его, как муху, хворостинкой).

Ункулункулу: Жепр, мепр, чох!

Гигогàгè! гророрд!

(По деревянным устам течет дикий мед, который он только-что кушал. В волосах, из засохшей крови убитого врага, гнездо золотых ос. Их тела — золотые свирели — они ползают по щекам старого бога).

Юнона: Вчера был поцелуй.

Мўри гўри рикокд.

(Печатает неделю и число на деревянных плечах бога).

А вот и имя Зи-зи рйзи! (Вырезывает ножничком).

Сиокўки — сисисй!

Ункулункулу: Перчь! Харчь! Зорчь!

(Сопит и уходит. Записная книжка великой красивой богини, следы любви строгими буквами на книге. Падают снежинки).

Юнона: Ханзиопо! Мне холодно.

(Перун подает ей черную медвежью шубу сибирских лесов. Богиня зябко окутывается в нее от снега. Снежинки).

Венера: Эн-кёнчи! Рука Озириса найдена
на камнях у водопада сегодня мною.

Эн-кёнчи! Зибгар, зоргам! Дзуг заг!

Мәнчы! Мәнчы! Миу!

Целуйте! Зев зйв диобэ! цицирйки цаца!

Целуйте!

Гребнем рта чешите волосы страданий!

Сикикйхи хазадёро.

Омр, бром, мду, цицилицы цй!

Цўги бўги хорм!

Барг! брезг! дзо!
Аракáро дзúго дзи! бэдрак!
Лелейте ресницами и большими птицами
в них с испуганными крыльями — плачьте!
Óмре, ймре, ўмре.
Хала хала хити тй.
Хўрм! хурм!
Миогə! Миогə!

Анче Патяй (во рту его вечный улей пчел, и он сосет свои медовые усы, седые):

Бархар кўко псо псо псò!

Эрот (садясь ему на плечо):

Латы лети куль куль куль!

Амза òмза мигоанчь!

Сию эльчи буль чулўр!

(Трепыхает снежными крыльями, садясь верхом на руку).

Чомпас (седой старик с божественными глазами):

Гдрак рарўро рирорò!

Хув, хав, хев.

(Снимает черную шкуру).

Кость медведя годится сосать и писать имена.

Юнона: Дай мне.

Мара рáма бибабўль —

Укс, кукс, эль!

Сيوخàса чичидй!

Редедйди дидидй!

Кали (в одежде из черных змей):

Вода течет, никто не пьет — вот череп для

питья.

Красивый враг смотрел на звезды и боги
приказали умертвить, и сломан шелком по-
звонок.

Вейтєсь, змеи смерти!
Ягза, пѣрчи, бѣбзи ой!
Зергза ули лой мой той!
Грой эмчъ амчи парирй!
Зйрию гѣра, пичирй!

Тор (в снегах, точно в белых медведях):

Ртеп нагѣги пиличйли?
Пали чѣчи чиполѣчь!
Бруг гавѣво ригорап.
Рамигома забзараг!
Муру баба буро пчех!
Гагагѣя — гигагѣз!
Гийи! Гик! (Ункулункулу)
Старик, дорогу!
Дерево — почет чугуноу!
С меня течет свинцовый пот.

Кали: Дай руку, дай обнять!

Но бойся змей!

А их укус смертелен, бог!

Эрот (хватает змею и летит, волоча змею):

Бигу гѣ барз, берз, гичичй!

Пипси ѣпи, пѣга гу

Чочи гуга, гени ган!

Аль, эль, иль!

Али, эли, или!

Чирчъ, чарчъ, смуль, нови! зика!

Мѣли мѣли моль!

Эк ак ук! кайи йоки пини юк!

Гамчъ, гемчъ! кирокайви вѣро!

(Кружится со змеей, козодоем хлопает в крылья).

Боги: Эча учи очи

Кези нези загзарак!

Низаризи озири!

Меаумўра зимора!

К а л и: Ветром смерти на них! Мертвого духа!

Мазачичи чиморо!

П е р у н: Я нового бога привел, Ундури.

Познакомьтесь! Пни будут ложами!

(Эрот разбивает змею о каменные пальцы Цинтекуатля).

К а л и: Глюпчь! Пенчь! Дзэро.

(Тянется к мертвой, волосами змей).

Прости, змея.

Ц и н т е к у а т л ь: Мап! Мап!

Брагавйро цигарò

Шалишь, малой! Не балуй!

Э р о т: Лельга, оньга, эхамчи!

Рйчи чйчи чичичй!

Бродадўдо бирарò

Пульси пельси пипапёй.

(Прячется в волосах Юоны).

Ю о н о н а: Дитя, что хочешь ты?

Макарао киочерк?

(Пепел богов падает сверху).

Л о г у а г а д у а п ò г о!

В е л е с (скотий бог):

Брувурўру рурурў.

Пице цапе сасэсэ!

Брувурўру — рурурў.

Сицильци цициць!

Пьянзь, пензь, панзь!

Э р о т: Лельга, оньга, эхамчй!

Рйчи чйчи чичичй!

Лёни нўли ёли а́ли!

Бачикако кикакò.
Накикòко кукакé!
Кукарйки кикикй̆.
Папа пўпи пигигй̆!
Мород, мород, миучали
Кàпа, кàпа, кап!
Эмч, амч, умч!
Думчи, дальче, дольчи!

(Взявшись за руку уносятся с Велесом).

Макарао киочерк!
Цицилийци цициций̆.
Вракулòки кàка кам!
Чукуруки чок!

Стрибог (нюхая алый цветок, смотрит на горы):

Биуры зирорà! нели мали киликò!
Пигогая ранани; вуру туры пирорò!

Перун: Тарх парака прак так так!

Пирирара пуруруу!
Тохо даго порорòро! прокрокрò!
Прокрокрапти!

Ундурин: Шарш, чарш, зарш.

Сегодня остяк высек меня и не дал
тюленьего жира.

Рщи чакуру кумыбал!

Юнона: Леолдла буарò! вицеоле сесесе!

Люнунуля изазо
Винавива мельчь и ульчь.
Сицоцара грозаза! морохоро рататати
Козомозо мионегги хиракуки сцицили!
Серакикика кукурй̆!

Амур: Бей бауро! лиоели!

Мани эза, плюки оки, пель, пель, пель!

Пичиопи туртуртү!
Пинчъ, пәнчъ, панчъ!
Сололдло морамй.

Цинтекуатль: Пруг, буктр, ркирчъ.
Практв, бакв, жам!
Жраб, гаврт, тивт!
Марж бзор мерчъ
Гигогәго! гро ро-ро!
Бзуп, бзой, черпчъ жирх!
Рапр грапр апр!
Перзи орзи чивири.
Ляя уля нользи
Мони кино ро.
Бзлом!
Кукакәдка апсь чиме!
Лаждь нажд кажд, шажд! цири!
Пум там турктр! Жепр, мепрь чох!

(Жарит оленя, положив ветки на каменные ладони бога жабы)

Л с л ь: Левидпи, липарүчи чизелә!
Мури гури рикоко!
Бух, бах, бох, бур, бер, бар,
Эх, гиль ох!
Цицили!

Ю н о н а: Бальдур, иди сюда!
Зам, гаг, зам!

У н д у р и: Дех, мех, дзупл.
Туки, паки сицоро
Мигоанчи, мечепй!
Рбзук квакада квакира! хлям!

Т и е н: Сиоукин сисиси.
Сиоуки сицоро!

Хрюрюрюри чицацò.
Печь, пачь, почь.
Хавихòхо хрум дур пор!
Амт, гулп, пелп!
Хапри эпри хамти укси.
Цог! бег! гип! зуйп!

(Кушает листья дерева).

Локки: А вот и нож убийцы!

(Вонзает нож в шею Бальдура).

Мезерезе больчича!

ПРУЖИНА ЧАХОТКИ

ШЕКСПИР ПОД СТЕКЛЯННОЙ ЧЕЧЕВИЦЕЙ

Действующие лица:

- I. Кровяной шарик.
- II. Винтик чахотки (пружина чахоуки).
- III. Писатель.

Я: Какая досада! зажигалка не работает; пружина выпала; что делать? (Задумываюсь).

I

Вихрь чахоточной битвы.

Винтик чахотки: 1-ый взвод чахотки! — направо, кру-у-гом! Ножку, ножку! Стучок! Стучок! Азь — два! Азь — два! Первый конный полк! Ножки вдевать в стремя! Но-о-жки! Направо! Первый конный полк чахотки, шашки выдержать! В-о-н! Ать! Ать! Стой, стерва! Ать! Не уйдешь! Курва! Готов! Есть! Тихо... Лежит... Падай, как падает красное государство.

II

Винтик чахотки: Страшные воины крови! Что вы толпитесь, как четки на толстых пальцах жреца? Четками одной нитки. Стадом овец около палки одного пастуха! Грудой пятаков, сложенных желтым скопцом менялой в столб рубля! Столбиком денег менялы? Эй! Идешь, что ли, один на один! Не будь бабой!

Кто у вас есть такой богатырь? чета мне? Я— чахотка-воин! Знаешь такого? А что? Распахнись, душа! Выходи! Один на один, господа мать! Будь бойцом! Распахнись, моя душа! Распахнись плечо! Эх, ты сила богатырская, да зачем меня мать родила? Господа мать! Один на один! Или я просверлю тебя насквозь, подлый воин крови, как вилка селедку! И выйду узорной змейкой, величавым винтиком чахотки, с обеих сторон твоего живота! Маша чахоткой с обеих сторон тебя — некая золотая рыбка. Чорт и молния! Искаженные зрачки святых! Небо и пекло! Море марух! Нож и нега! Святой и торгаш! Святой и ракло! 33 несчастья! Ать! Ать! Взял за горло? Ломишь? Стой! — Врешь!

Скинь шишак здравого смысла! Пришел нечетный вихрь дней. А, это нехорошо! Чорт и молния! Я проткну копьем моего тела твое рыхлое, мягкое пузо, кровик шара! Боевым, военным, крученым копьем пройду тебя и выйду сзади с черного хода. Чванливый шар! Лепешка спеси! Кубышка пыхтения. Не лежи перед вилокй голодного на блюде серебряном лакомкой. Чорт и молния! Я проткну твой живот, воин краснощекого здоровья, как олень протыкает рогами живот задремавшего удава, съевшего его. Слышишь, кровяной шар?

Насквозь! Насквозь! Зыззз! Зыззз! Эйя!

Айя! Вейя! Базы!

Первый чахоточный полк!

Ша—шки! Вы—дер—гать — ВОН!

Направо рази! Налево руби! Эз-а мм-ной! Гром и боги! Столпотворение миров. Азбука шагает — что страшнее? Довольно барышничать барышней, вос-

питанной тонко! Снимите шлемы благоразумия! Рев и песни! Сто поцелуев на одном месте! Ззыэзз! Ззыэзз! Валяй! Шагай, громоздя упоенно горы черепов! Башни. Шагать! крушить! крошить! Наглецы на негледов! Стон стен! Я крученный меч! Умри, или я умру и ты свернешь меня в пружину, покрыв меня обоями благоразумия, и усядешься на войне чахотки, как важно читающий ведомость на мягком кресле. Ты думаешь, что сложишь меня в большой мешок своего живота и зашьешь, пока не скушаешь меня? Военные страсти, ужасные нравы. И точно рога оленя в пестром животе удава, я буду бодать тебя тонким рогом, собираясь проткнуть иголкой полосатую кожу.

Честный поединок, чорт возьми!

Дева и царские кудри!

Чорт и лобзание возлюбленных!

Чума и чахотка бледных стен! Яд и молния!

Ну, шагай, подлый воин крови, в рукопашную.

Трус! дурочку валяешь? Празднуешь трусу? Стыдись! Поединок чахотки, бой алого здоровья и чахотки. Стук черепов. Слышишь? Слышишь? Решетка челюстей, черные пятна глазниц скачут по полю. Это череп пришел! Завоевать средние пространства одного волоса.

Уф! Уф! Дух битвы, радость крови, радость бытия; я втягиваю в ноздри радость битвы. Я весел сегодня! Я, воин!

Гром и молния! Я буду бодать твой желудок!

Урр! Урр!

Ать! Ать! Полки за мной!

Стой, стерва! Не уйдешь!

Хырр... Хырр... Курва! Куда? Величайшая во вселенной битва внутри одного волоска!

III

Винтик чахотки: Дикой лавиной пошли воины смерти. А! Не уберег головы для белой чахотки! Воин крови (кровяной шарик) Ай: все волосы седые! На волосах зимняя погода — на волосах выпал снег. Там уже можно ездить на санях. На рощах и лугах лица осенняя погода. Желтые листья. Скучный, желтый лист. Летит черный ворон из глаза. В клеточки мозга бросились воины чахотки. Начались убийства ученых за письменным столом, во время мысли об обеде из глины, священные замыслы высших.

Окровавлены снежные волосы и рукописи с тонкими расчетами о съедобной глине.

В седых волосах главные бои.

Там разворачивается главная игра.

Время распечатывает новые колоды сил.

Брошены тузы лучших полков, самых военных, самых храбрых, на поля главного сечения одного волоска.

Мертвая пора. Борцы схватились, сейчас умрут в соединительной ткани, соединяйтесь! в—место разницы мозга и крови и кости.

Мировые истины падают как боги. А тело строгими глазами, стеклянной черной птицей, летящей вкось, следило за поединком чахотки и здоровья в хриплых легких, похожих на меха кузнеца.

Раздувайте огонь! чужим грудям.

Винтик чачотки: Воин здоровья, шагай на лю-
тый бой, не будь бабой!

Писатель: Что делать с этой пружиной смерти?
Она остервенела. Ба! Не дать ли ей службу?
В моей вполне приличной зажигалке нет пружины
и она не работает.

Сегодня я даже израсходовал целую коробку спи-
чек; не по кошельку! Вставить чачотку вместо
пружины зажигалки?

Кровяной шарик: Ну что, как? Идет дело?

Писатель (смеется): Есть! (Показывает зажигалку)
Зажигается! И какое хорошее красное пламя! Крас-
ное губной помады. Из чачотки вышла хорошая
пружинка для за-жигал-ки!

Совет: Пружиньте пружинку чачотки для зажи-
галок!

К О Л И З Б У Д У Щ Е Г О

МЫ И ДОМА

МЫ И УЛИЦЕТВОРЦЫ

Кричаль

Вонзая в человечество иглу обуви, шатаюсь от тяжести лат, мы, сидящие на крупе, показываем дорогу туда! и колем усталые бока колесником на железной обуви, чтобы усталое животное сделало прыжок и вяло взяло, маша от удовольствия хвостом, забор перед собой.

Мы, сидящие в седле, зовем: туда, где стеклянные подсолнечники в железных кустарниках, где города, стройные как невод на морском берегу, стеклянные как чернильница, ведут междуусобную борьбу за солнце и кусок неба, будто они мир растений; „посолонь“ ужасно написано в них азбукой согласных из железа и гласных из стекла!

И если люди — соль, не должна ли солонка итти по-солонь? Положив тяжелую лапу на современный город и его улицетворцев, восклицая: „Бросьте ваши крысятники“ и страшным дыханием изменяя воздух, мы, будетляне, с удовольствием видим, что многое трещит под когтистой рукой. Доски победителей уже брошены, и победители уже пьют степной напиток, молоко кобылиц; тихий стон победенных.

Мы здесь расскажем о вашем и о нашем городе.

I. Черты якобы красивого города прошлецов (пращурское зодчество).

1. Город сверху: сверху сейчас он напоминает скребницу, щетку. Это ли будет в городе крылатых жителей? В самом деле, рука времени повернет вверх ось зрения, увлекая за собой и каменное щегольство прямой угол. На город смотрят сбоку, будут — сверху. Крыша станет главное, ось стоячей. Потоки летунов и лицо улицы над собой город станет ревновать своими крышами, а не стенами.

Крыша, как таковая, нежится в синеве, она далека от грязных туч пыли. Она не желает, подобно мостовой, мести себя метлой из легких, дыхательного горла и нежных глаз; не будет выметать пыль ресницами и смывать со своего тела грязь черную губкой из легкого. Прихорашивайте ваши крыши; оснащайте эти прически узкими булавками. Не на порочных улицах с их грязным желанием иметь человека, как вещь, на своем умывальнике, а на прекрасной и юной крыше будет толпиться люд, носовыми платками приветствуя отплытие облачного чудовища, со словами „до свиданья“ и „прощай!“ провожая близких.

Как они одевались? Они из черного или белого льна кроили латы, поножи, нагрудники, налокотники, горла, утюжили их и таким образом вечно ходили в латах цвета снега или саж, холодных, твердых, но размокающих от первого дождя, доспехах из льна. Вместо пера у иных над головой курилась смола. В глазах у иных взаимное смелое, утонченное презрение. Поэтому мостовая прошла выше окон и водосточных труб. Люд столпился на

крыше, а земля осталась для груза; город превратился в сеть нескольких пересекающихся мостов, положивших населенные своды на жилые башни — опоры; жилые здания служили мосту быками и стенами площадей колодцев. Забыв ходить пешком или на собратях, вооруженных копытами, толпа научилась летать над городом, спуская вниз дождь взоров, падающих сверху; над городом будет стоять облако оценки труда каменщиков, грозящее стать грозой и смерчем для плохих кровель. Люд на крыше вывет у мотыги ясную похвалу крыше, и улице, проходящей над зданиями. Итак, его черты: улица над городом, и глаз толпы над улицей!

2. Город сбоку. „Будто красивые“ современные города на некотором расстоянии обращаются в ящик с мусором. Они забыли правило чередования в старых постройках (греки, Ислам) сгущенной природы камня с разреженной природой — воздухом (собор Воронихина), вещества с пустотой; то же отношение ударного и не ударного места — сущность стиха. У улиц нет биения. Слитные улицы так же трудно смотрятся, как трудно читаются слова без промежутков и выговариваются слова без ударений. Нужна разорванная улица с ударением в высоте зданий, этим колебанием в дыхании камня. Эти дома строятся по известному правилу для пушек: взять дыру и облить чугуном. И точно, берется чертеж и заполняется камнем. Но в чертеже имеет существование и весомость — черта, отсутствующая в здании, и наоборот: весомость стен здания отсутствует в чертеже, кажется в нем пустотой; бы-

тие чертежа приходится на небытие здания, и наоборот. Чертежники берут чертеж и заполняют его камнем, т. е. основное соотношение камня и пустоты умножают (в течении веков не замечая) на отрицательную единицу, отчего у самых безобразных зданий самые изящные чертежи, и Мусоргский чертежа делается ящиком с мусором в здании. Этому должен быть положен конец! Чертеж годится только для проволочных домов, так как заменять черту пустотой, а пустоту камнем — то же, что переводить папу римского, знакомым римской мамы. Близкая поверхность похищена неразберихой окон, подробностями водосточных труб, мелкими глупостями узоров, дребеденью, отчего большинство зданий в лесах лучше законченных. Современный доходный дом (искусство прошлецов) растет из замка; но замки стояли особняком, окруженные воздухом, насытив себя пустынным, походя на громкое междоуметие! А здесь, сплюснутые общими стенами, отняв друг от друга кругозор, сдавленные в икру улицы, — чем они стали с их прыгающим узором окон, как строчки чтения в поезде! Не так ли умирают цветы, сжатые в неловкой руке, как эти дома крысятники? (потомки замков?)

3. Что украшает город? На пороге его красоты стоят трубы заводов. Три дымящиеся трубы Замошворечья напоминают подсвечник и три свечи невидимых при дневном свете. А лес труб на северном безжизненном болоте заставляет присутствовать при переходе природы от одного порядка к другому; это нежный, слабый мох леса второго порядка; сам город делается первым опытом расте-

ния высшего порядка, еще ученическим. Эти болота — поляна шелкового мха труб. Трубы это прелесть золотистых волос.

4. Город внутри. Только немногие заметили, что ввести улицы союзу алчности и глупости домовладельцев и дать им право строить дома — значит без вины вести жизнь одиночного заключения; мрачный быт внутри доходных домов очень мало отличается от быта одиночного заключения; это жизнь гребца на дне ладьи, под палубой; он ежемесячно взмахивает веслом, и чудовище алчности темной и чужой воли идет к сомнительным целям.

5. Так же мало замечали, что путешествия лишены полноты удобств и неприятны.

II. Лекарства Города Будрых.

1. Был выдуман ящик из гнutoго стекла или походная каюта, снабженная дверью, с кольцами, на колесах, со своим обывателем внутри, она ставилась на поезд (особые колеи, площадки с местами) или пароход и в ней ее житель, не выходя из нее, совершал путешествие. Иногда раздвижной, этот стеклянный шатер был годен для ночлега. Вместе с тем, когда было решено строить не из случайной единицы кирпича, а с помощью населенной человеком клетки, то стали строить дома-остовы, чтобы обитатели сами заполняли пустые места подвижными стеклянными хижинами, могущими быть перенесенными из одного здания в другое. Таким образом было достигнуто великое завоевание: путешествовал не человек, а его дом на колесиках или, лучше сказать, будка, привинчиваемая то к площадке поезда, то к пароходу.

Как зимнее дерево ждет листвы или хвои, так эти дома-остовы, подымая руки с решеткой пустых мест, свой распятый железный можжевельник, ждут стеклянных жителей, походя на ненагруженное невооруженное судно, то на дерево смерти, на заброшенный город в горах. Возникло право быть собственником такого места в неопределенно каком городе. Каждый город страны, куда прибывал в своем стеклянном ящике владелец, обязан был дать на одном из домов-остовов место для передвижной ящико-комнаты (стекло-хаты). И на цепях с визгом подымался путешественник в оболочке.

Ради этого размеры шатра во всей стране — одного и того же образца. На стеклянной поверхности чернело число, порядок владельца. Сам он во время подъема что-нибудь читал. Таким образом, возник владелец: 1) не на землю, а лишь на площадку в доме-остове, 2) не в каком-нибудь определенном городе, а вообще в городе страны, одном из вошедших в союз для обмена гражданами. Это было сделано для пользы подвижного населения.

Строились остовы городами; они опирались на союз стекольников и железников Урала. Похожий на кости без мышц, чернея пустотой ячеек для вставных стеклянных ящиков, ставших деньгами объема, в каждом городе стоял наполовину заполненный железный остов, ожидавший стеклянных жителей. Нагруженные ими же, плавали палубы и ходили поезда, носились по дорогам площадки. Такие же остовы-гостиницы строились на берегу моря над озерами, вблизи гор и рек. Иногда в одном владении были две или три клетки. 1) Шатры

в домах чередовались с гостиными, столовыми и резварнами. 2) Современные дома - крысятники строятся союзом глупости и алчности. Если прежние замки-особняки распространяли власть вокруг себя, то замки-сельди сплюсненные боченком улиц, устанавливают власть над живущими в нем, внутри его. В неравной борьбе многих обитающих в доме с одним владеющим им, многих, не сделавших ни одного яркого душегубства, но живущих в мрачной темнице, в заключении в доходном доме, под тяжелой лапой союза алчности и глупости; на помощь многим сначала приходили отдельные союзы, а потом государство. Было признано, что город—точка узла лучей общей силы и в известной доле есть достояние всех жителей страны и что за попытку жить в нем гражданин страны не может быть брошен (одним из случайно отнявших у него город) в каменный мешок крысятника и вести там жизнь узника пусть по приговору только быта, а не суда. Но не все ли равно сурово наказанному, даже если он не подозревает о страшном равенстве своего жилища: суд или быт бросил его, как военного пленника, в темный подвал, отрезанный от всего мира?

Было понято, что постройка жилищ должна быть делом тех, кто их будет населять. Сначала отдельные улицы объединились в товарищества на паях, чтобы строить, чередуя громады с пустотой, общие замкоулицы и заменить грязный ящик улицы одним прекрасным улочертогом; в основу лег порядок древнего Новгорода. Вот вид большой улицы Тверской. Высокий избул окружался площадью.

Тонкая башня соединялась мостом с соседним замком. Дома стены стояли рядом, как три книги стоящие ребром.

Жилая башня двумя висячими мостами соединялась с другой такой же, высокой, тонкой. Еще один дворцеул. Все походило на сад. Дома соединялись мостами, верхними улицами градоула. Так были избегнуты ужасы произвола частного зодчества. Растительный яд стал караться наравне с зодческим мышьяком. За частными лицами осталось право строить дома: 1) вне города, 2) на окраинах его, в деревнях, пустынях, но и то для своего личного пользования. Позднее к улицетворству перешла государственная власть. Это были казенные улочертоги.

Присвоив права улицетворца и очертив кругом своих забот жиниц и жиянство (от жить, словопроизводство по словам: пианство и пианиц), власть стала старшим каменщиком страны и на развалинах частного зодчества оперлась о щит благодарности умученных в современных крысятниках.

Нашли, что черпать средства из постройки стеклянных жилищ нравственно. Измученные равнодушным ответом: „пущайдохнут, пущайживут“ ушли под крыло государства-зодчего.

Запрет на частное зодчество не распространялся на избы, хаты, усадьбы и жилища семей. Война велась с крысятниками. Занятая избоюлом, земля оставалась во владении прежних собственников. Житеул: 1) сдавался обществам городов, врачей, путешествий, улиц, приходам; 2) оставался у строителя, 3) продавалось на условиях, ограничивающих

алчность, право содержания. Это был могучий источник доходов. Градоулы, построенные на берегах моря и в живописных местах, оживили ее высокими стеклянными замками. Итак, основным строителем стало государство; впрочем, оно стало таким в силу превосходства своих средств как самое могучее частное общество.

3. Что строилось? Теперь внимание. Здесь рассказывается про чудовище будетлянского воображения, заменившие современные площади, грязные как душа Измайлова.

а) Дома-мосты; в этих домах и дуги моста и опорные сваи были населены зданиями. Одни стекло-железные соты служили соседям частями моста. Это был мостоул. Башни-сваи и полушария дуг.

[Корень ул от слов: улица, улей, улика, улыбка, Ульяна]. Мостоулы нередко воздвигались над рекой.

б) Дом-тополь. Состоял из узкой башни, сверху донизу обвитой кольцами из стеклянных кают. Подъем был в башне, у каждой светелки особый выход в башню, напоминавшую высокую колокольню (100 200 саж.). Наверху площадка для верхнего движения. Кольца светелок тесно следовали одно за другим на большую высоту. Стеклянный плац и темный остов придавали ему вид тополя.

с) Подводные дворцы; для говорилен строились подводные дворцы из стеклянных глыб, среди рыб, с видом на море, и подводным выходом на сушу. Среди морской тишины давались уроки красноречия.

д) Дома - пароходы. На большой высоте искусственный водоем заполнялся водой и в нем на волнах

качался настоящий пароход, населенный главным образом моряками.

е) Дом - пленка. Состоял из комнатной ткани в один ряд натянутой между двумя башнями. Размеры $3 \times 100 \times 100$ сажень. Много света! Мало места. Тысяча жителей. Очень удобен для гостиниц, лечебниц, на гребне гор, берегу моря. Просвечивая стеклянными светелками, казался пленкой. Красив ночью, когда казался костром пламени среди черных и угрюмых башен-игл. Строится на бугре холмов. Служит хорошим домом-остовом.

м) Тот же с двойной тканью комнат.

п) Дом-шахматы. Пустые комнаты отсутствовали в шахматном порядке.

к) Дом-качели. Между двумя заводскими трубами привешивалась цепь, а на ней привешивается избушка. Мыслителям, морякам, бюджетянам.

т) Дом-волос. Состоит из боковой оси и волоса комнат бюджетяньских, поднимающихся рядом с нею на высоту 100 — 200 саж. Иногда три волоса вьются вдоль железной иглы.

с) Дом-чаша; железный стебель 5 — 200 сажень вышиной подымает на себе стеклянный купол для 4 — 5 комнат. Особняк для ушедших от земли; на ножке железных брусьев.

3) Дом-трубка. Состоял из двойного комнатного листа свернутого в трубку с широким двором внутри, орошенным водопадом.

а) Порядок развернутой книги; состоит из каменных стен, под углом и стеклянных листов комнатной ткани, веером расположенной внутри этих стен. Это дом-книга. Размеры стены 200 — 100 саж.

в) Дом-поле, в нем полы служат опорой пустынным покоем, лишенным внутренних стен, где в живописном беспорядке раскинуты стеклянные хижины, шалаши, не достающие потолка, особо запирающиеся вигвамы и чумы; на стенах грубо сколоченные природой олени рога придавали вид каждому ярусу охотничьего становища; в углах домашние купанья. Нередко полы поднимаются один над другим в виде пирамиды.

х) Дом на колесах; на длинном маследе одна или несколько кают; гостиная, светская ульская для цыган 20 века.

Начала: 1) Оседлый остов дома, бродячая каюта.

2) Человек ездит по поезду, не выходя из своей комнаты.

3) Право собственности на жилище в неопределенно каком городе.

4) Казна-строитель.

5) Правило построек особняков; гибель улиц; удары замкоулов, междометия башен.

Прогулка; читая изящное стихотворение из 4-х слов гоум, моум, суум, туум и вдумываясь в его смысл, казавшийся прекраснее больших созвучьерубных приборов, я не выходя из шатра был донесен поездом через материк к морю, где надеялся увидеть сестру. Я почувствовал скрип и покачивание. Это железная цепь подымала меня вдоль домотополя; мелькали клетки стеклянного плаща и лица. Остановка; здесь в пустой ячейке дома, я оставил свое жилище; зайдя к водопаду и надев стиль одежд дома, я вышел на мостик. Изящный, тонкий,

он на высоте 80 сажен соединял два дома-тополя. Я наклонился и вычислял себя, что я должен делать, чтобы исполнить волю его в себе. Вдали между двух железных игл, стоял дом-пленка. 1000 стеклянных жилищ соединяемых висячей тележкой с башнями блестя стеклом. Там жили художники, любясь двойным видом на море, так как дом иглой-башней выдвинулся к морю. Он был прекрасен по вечерам. Рядом на недостижимую высоту вился дом-цветок, с красновато-матовым стеклом купола, кружевом изгороди чашки и стройным железом лестниц ножки. Здесь жили И и Э. Железные иголки дома-пленки и плотно стеклянных сот озарялись закатом. У угловой башни начинался другой протянутый в поперечном направлении дом. Два дома-волоса вились рядом один около другого. Там дом-шахматы; я задумался. Роща стеклянных тополей сторожила море. Между тем четыре „Чайки № 11“ несли по воздуху сеть, в которой сидели купальщицы, и положили ее на море. Это был час купанья. Сами они качались на волнах рядом. Я думал про сивок-коурок, ковры-самолеты и думал: сказки, память старца или нет? Иль детское ясновидение? Другими словами, я думал: потоп и гибель Атлантиды была или будет? Скорее я склонен был думать — будет.

Я был на мостике и задумался.

ЛЕБЕДИЯ БУДУЩЕГО

Небо книги

На площадях, около садов, где отдыхали рабочие или творцы, как они стали себя называть, подымались высокие белые стены, похожие на белые книги, развернутые на черном небе. Здесь толпились толпы народа и здесь творецкая община, тене печатью на тене книгах, сообщала последние новости, бросая из блистающего глаза светоча нужные тенеписьмена. Новинки Земного Шара, дела Соединенных Станов Азии, этого великого союза трудовых общин, стихи, внезапное вдохновение своих членов, научные новинки, извещения родных своих родственников, приказы советов. Некоторые, вдохновленные надписями тене книг, удалялись на время, записывали свое вдохновение и через полчаса брошенное световым стеклом, оно, тeneвыми глаголами, показывалось на стене. В туманную погоду пользовались для этого облаками, печатая на них последние новости. Некоторые, умирая, просили, чтобы весть о их смерти была напечатана на облаках. В праздники устраивалась „живопись пальбой“. Снарядными разноцветного дыма стреляли в разные точки неба. Например, глаза — вспышкой синего дыма, губы — выстрелом алого дыма, волосы — серебряного. Среди безоблачной синевы неба знакомое лицо, вдруг выступившее на небе, означало чествование населением своего вождя.

Земледелие. Пахарь в облаках

Весною можно было видеть, как два облакохода, ползая мухами по сонной щеке облаков, трудолюбиво боронили поля, вспахивая землю прикрепленными к ним боронами. Иногда небоходы скрывались. Когда туча скрывала их из виду, казалось, что борону везут трудолюбивые облака, запряженные в ярмо как волы. Позднее неболеты пролетали как величественные лейки, спрятанные облаками, чтобы оросить пашню искусственным дождем и бросить оттуда целые потоки семян. Пахарь переселился в облака и сразу возделывал целые поля, земли всей задруги. Земли многих семей возделывались одним пахарем, закрытым весенними облаками.

Пути сообщения. Искрописьма

Подводная дорога со стеклянными стенами местами соединяла оба берега Волги. Степь еще более стала походить на море. Летом по бесконечной степи двигались сухопутные суда, бегая на колесах с помощью ветра и парусов. Грозоходы, коньки и парусные сани соединяли села. Каждый ловецкий поселок обзаводился своим полем для спуска воздушных челнов и своим приемником для лучистой беседы со всем земным шаром. Услышанные искровые голоса, поданные с другого конца земли, тотчас же печатались на тенекнигах.

Лечение глазами

Засев полей из облаков, тенекниги, сообщающие научную общину со всей звездой, паруса сухопут-

ных судов, покрывавшие степь точно море, стены площадей, как великие учителя молодости, сильно изменили Лебедию за два года. В теневых читальнях дети сразу читали одну и ту же книгу, страница за страницей, перевортываемую перед ними человеком сзади них... В отгороженном месте получали право жить, умирать и расти растения, птицы и черепахи. Было поставлено правилом, что ни одно животное не должно исчезнуть. Лучшие врачи нашли, что глаза живых зверей излучают особые токи, целебно действующие на душевно расстроенных людей. Врачи предписывали лечение духа простым созерцанием глаз зверей, будут ли это кроткие покорные глаза жабы, или каменный взгляд змеи, или отважные—льва, и приписывали им такое же значение, какое настройщик имеет для расстроенных струн. Лечение глазами использовалось в таких же размерах, как теперь лечебные воды.

Деревня стала научной задругой, управляемой облачным пахарем. Крылатый творец твердо шел к общине не только людей, но и вообще живых существ земного шара.

И он услышал стук в двери своего дома крохотного кулака обезьяны.

РАДИО БУДУЩЕГО

Радио будущего — главное дерево сознания — открывает ведение бесконечных задач и объединит человечество.

Около главного стана Радио, этого железного замка, где тучи проводов рассыпались точно волосы, наверное будет начертана пара костей, череп и знаковая надпись: „Осторожно“, ибо малейшая остановка работы Радио вызвала бы духовный обморок всей страны, временную утрату ею сознания.

Радио становится духовным солнцем страны, великим чародеем и чарователем.

Вообразим себе главный стан Радио: в воздухе паутина путей, туча молний, то погасающих, то зажигающихся вновь, переносящихся с одного конца здания на другой. Синий шар круглой молнии, висящий в воздухе точно пугливая птица, косо протянутые снасти.

Из этой точки земного шара, ежесуточно, похожие на весенний пролет птиц, разносятся стаи вестей из жизни духа.

В этом потоке молнийных птиц дух будет преобладать над силой, добрый совет над угрозой.

Дела художника пера и кисти, открытия художников мысли (Мечников, Эйнштейн), вдруг переносящие человечество к новым берегам...

Советы из простого обихода будут чередоваться с статьями граждан снеговых вершин человеческого духа. Вершины волн научного моря разносятся

по всей стране к местным станам Радио, чтобы в тот же день стать буквами на темных полотнах огромных книг, ростом выше домов, выросших на площадях деревень, медленно переворачивающих свои страницы.

Радиочитальни

Эти книги улиц—читальни Радио! Своими великанскими размерами обрамляют села, исполняют задачи всего человечества.

Радио решило задачу, которую не решил храм как таковой, и сделалось так же необходимым каждому селу, как теперь училище или читальня.

Задача приобщения к единой душе человечества, к единой ежесуточной духовной волне, проносющейся над страной каждый день, вполне орошающей страну дождем научных и художественных новостей,—эта задача решена Радио с помощью молнии. На громадных тeneвых книгах деревень Радио отпечатало сегодня повесть любимого писателя, статью о дробных степенях пространства, описание полетов — и новости соседних стран. Каждый читает, что ему любо. Эта книга, одна и та же для всей страны, стоит в каждой деревне, вечно в кольце читателей, строго набранная, молчаливая читальня в селах.

Но вот черным набором выступила на книгах громкая научная новость: химик X., знаменитый в узком кругу своих последователей, нашел способы приготовления мяса и хлеба из широко распространенных видов глины.

Толпа волнуется и думает: что будет?

Землетрясение, пожар, крушение в течение суток будут печатаны на книгах Радио... Вся страна будет покрыта станами Радио...

Радиоаудитории

Железный рот самогласа пойманную и переданную ему зыбь молнии превратил в громкую разговорную речь, в пение и человеческое слово.

Все село собралось слушать.

Из уст железной трубы громко несутся новости дня, дела власти, вести о погоде, вести из бурной жизни столиц.

Кажется, что какой-то великан читает великанскую книгу дня. Но это железный чтец, это железный рот самогласа; сурово и четко сообщает он новости утра, посланные в это село маяком главного стана Радио.

Но что это? Откуда этот поток, это наводнение всей страны неземным пением, ударом крыл, свистом и цоканием и целым серебряным потоком дивных безумных колокольчиков, хлынувших оттуда, где ас нет, вместе с детским пением и шумом крыл?

На каждую сельскую площадь страны льются эти голоса, этот серебряный ливень. Дивные серебряные бубенчики, вместе со свистом, хлынули сверху. Может быть, небесные звуки — духи — низко пролетели над хаткой. Нет...

Мусоргский будущего дает всенародный вечер своего творчества, опираясь на приборы Радио в просторном помещении от Владивостока до Балтики, под голубыми стенами неба... В этот вечер ворожа людьми, причащая их своей душе, а завтра

обыкновенный смертный! Он, художник, околдовал свою страну; дал ей пение моря и свист ветра! Каждую деревню и каждую лачугу посетят божественные свисты и вся сладкая нега звуков.

Радио и выставки

Почему около громадных огненных полотен Радио, что встали как книги великанов, толпятся сегодня люди отдаленной деревни? Это Радио разослало по своим приборам цветные тени, чтобы сделать всю страну и каждую деревню участницей выставки художественных холстов далекой столицы. Выставка перенесена световыми ударами и повторена в тысячи зеркал по всем станам Радио. Если раньше Радио было мировым слухом, теперь оно глаза, для которых нет расстояния. Главный маяк Радио послал свои лучи, и Московская выставка холстов лучших художников расцвела на страницах книг читален каждой деревни огромной страны, посетив каждую населенную точку.

Радиоклубы

Подойдем ближе... Гордые небоскребы, тонущие в облаках, игра в шахматы двух людей, находящихся на противоположных точках земного шара, оживленная беседа человека в Америке с человеком в Европе... Вот потемнели читальни; и вдруг донеслась далекая песня певца, железными горлами Радио бросило лучи этой песни своим железным певцам: пой, железо! И к слову, выношенному в тиши и одиночестве, к его бьющим ключам, причастилась вся страна.

Покорнее, чем струны под пальцами скрипача, железные приборы Радио будут говорить и петь, повинуюсь ее волевым ударам.

В каждом селе будут приборы слуха и железного голоса для одного чувства и железные глаза для другого.

Великий чародей

И вот научились передавать вкусовые ощущения — к простому, грубому, хотя и здоровому, обеду Радио бросит лучами вкусовой сон, призрак совершенно других вкусовых ощущений.

Люди будут пить воду, но им покажется, что перед ними вино. Сытый и простой обед оденет личину роскошного пира... Это даст Радио еще большую власть над сознанием страны...

Даже запахи будут в будущем покорны воле Радио: глубокой зимой медовый запах липы, смешанный с запахом снега, будет настоящим подарком Радио стране.

Современные врачи лечат внушением на расстоянии по проволоке. Радио будущего сумеет выступить и в качестве врача, исцеляющего без лекарства.

И далее:

Известно, что некоторые звуки, как „ля“ и „си“, поднимают мышечную способность, иногда в шестьдесят четыре раза, сгущая ее на некоторый промежуток времени. В дни обострения труда, летней страды, постройки больших зданий эти звуки будут рассыпаться Радио по всей стране, на много раз подымая ее силу.

И наконец — в руки Радио переходит постановка народного образования. Верховный совет наук будет

рассылать уроки и чтение для всех училищ страны— как высших, так и низших.

Учитель будет только спутником во время этих чтений. Ежедневные перелеты уроков и учебников по небу в сельские училища страны, объединение ее сознания в единой воле.

Так Радио скует непрерывные звенья мировой души и сольет человечество.

УТЕС ИЗ БУДУЩЕГО

Люди сидят и ходят, скрытые в пятнах слепых лучей светлыми облаками лучевого молчания, лучевой тишины.

Некоторые сидят на высоте, на воздухе, в невесомых креслах. Иногда заняты живописью, мажут кисточкой. Общества других носят круглые стеклянные полы и столы.

Другие шагают по воздуху, опираясь на посох, или бегают по воздушному снегу, по облачному насту на лыжах времени; большая дорога для ходьбы по воздуху, большак для толп небесных пешеходов, проходит над осями низких башен для скрученной в катушки молнии. По тропинке отсутствия веса ходят люди точно по невидимому мосту. С обеих сторон обрыв в пропасть падения; черная земная черта указывает дорогу.

Точно змея, плывущая по морю, высоко поднявшая свою голову, по воздуху грудью плывет здание, похожее на перевернутое Гэ. Летучая змея здания. Оно нарастает как ледяная гора в северном море.

Прямой стеклянный утес отвесной улицы хат, углом стоящий в воздухе, одетый ветром — лебедь этих времен.

На крылечках здания сидят люди — боги спокойной мысли.

— Второе море сегодня безоблачно.

— Да! Великий учитель равенства, второе море над нами, нужно поднять руку, чтобы показать на

него. Оно потушило пожар государств, лишь только к нему был приставлен рукав насоса, пожарной кишки. Это было очень трудно в свое время сделать.

Это была великая заслуга второго моря! В знак благодарности, вечно на одном из облаков отпечатано лицо человека, точно открытка знакомому другу.

— Борьба островов с сушей, бедной морем, окончилась. Мы равны морем, заметив его над головой. Но мы не были зорки. Песок глупости засыпал нас курганами.

Я сейчас курю восхитительную мысль с обаятельным запахом. Ее смолистая нега окутала мой разум точно простыней.

Именно мы не должны забывать про нравственный долг человека перед гражданами, населяющими его тело. Эту сложную звезду из костей.

Правительство этих граждан, человеческое сознание, не должно забывать, что счастье человека есть мешок песчинок счастья его подданных. Будем помнить, что каждый волосок человека — небоскреб, откуда из окон смотрят на солнце тысячи Саш и Маш. Опустим свой мир сваями в прошлое.

Вот почему иногда просто снять рубашку или выкупаться в ручье весной дает больше счастья, чем стать самым великим человеком на земле.

Снять одежды—понежиться на морском песке, снова вернуть убежавшее солнце, — это значит дать день искусственной ночи своего государства; перестроить струны государства, большого ящика звенящих проволочек, по звукам солнечного лада.

Не надо быть Аракчевым по отношению к гражданам своего собственного тела. Не бойтесь лежать голыми в море солнца. Разденем тело и наши города. Дадим им стеклянные латы от стрел мороза.

С другой стороны:

— С вами спички еды?

— Давайте, закурим снедать.

— Сладкий дым? Клейма Гзи-Гзи?

— Да, они дальнего происхождения из материка А.

Превосходный съедобный дым, очаровательны голубые пятна неба, тихая звездочка, в одиноком споре спорящая с синим днем.

Прекрасны тела, освобожденные из темниц одежд. В них голубая заря борется с молочной.

Впрочем уравнение человеческого счастья было решено и найдено только тогда, когда поняли, что оно вьется слабым хмелем около ствола мирового. Слышать шелест рагоз, узнавать глаза и душу своего знакомого в морском раке, вбок убегающем, с поднятой клешней, не забывая военного устава, — часто дает большее счастье, чем все, что делает славу и громкое имя, например, полководца.

Счастье людей — вторичный звук; оно вьется, обращается около основного звука мирового.

Оно — слабый месяц около земель вокруг солнца, коровьих глаз нежного котенка, скребущего за ухом, весенней мать-мачехи, плеска волн моря.

Здесь основные звуки счастья, его мудрые отцы, дрожащая железная палочка раньше семьи голосов. Проще говоря, ось вращения.

Вот почему городские дети в разлуке с природой всегда несчастливы, а сельским оно знакомо и неразлучно, как своя тень.

Человек отнял поверхность земного шара у мудрой общины зверей и растений и стал одинок: ему не с кем играть в пятнашки и жмурки; в пустом покое темнота небытия кругом, нет игры, нет товарищей. С кем ему баловаться? Кругом пустое нет. Изгнанные из туловищ души зверей бросились в него и населили своим законом его степи.

Построили в сердце звериные города.

Казалось, человек захлебнется в углероде себя.

Его счастье было печатный станок, в котором для счета не хватало знаков многих чисел, двоек, троек; и прекрасная задача без этих чисел не могла быть написана. Их уносили с собой в могилу уходящие звери, личные числа своего вида.

Целые части счета счастья исчезали, как вырванные страницы рукописи. Грозил сумрак.

Но свершилось чудо: храбрые умы разбудили в серой святой глине, пластами покрывавшей землю, спящую ее душу хлеба и мяса. Земля стала съедобной, каждый овраг стал обеденным столом. Зверям и растениям было возвращено право на жизнь, прекрасный подарок.

И мы снова счастливы: вот лев спит у меня на коленях, и теперь я курю мой воздушный обед.

Закон множеств царил в этой бочке сельдей больших городов. Туго набитая человеческая селедка принимала очертания своих соседей. Сосед давил соседа в этом могучем боченке, полном небоскребов, и на боку одной сельди, быстро носившейся с бумагами по городу, выдавливалась худая с острой хищной челюстью голова ее соседа.

Я узнавал своих знакомых, выдавленных подмышками быстро пробежавшего молодого человека: там они ухитрились отпечатать свои лица. И вообразите: на одной пятке оказалось отпечатанным лицо одной прехорошенькой девушки. Не удивительно что я любил итти сзади и следить за мелькающей пяткой и смеющейся головкой девушки на ней. Итак, закон боченка работал над населением города, туго набитого духовными селедками с зелеными вытянутыми лицами и впалыми глазами. Странное дело: туловища этих людей торопились, спешили по улицам, бегали по делам, в то время как рядом громадно и неподвижно, с мертво-раскрытым ртом, лежали их души страшной тяжестью, оправдывая слова одного мудреца: „Не надо светописца, не надо художника там, где теснота: роковым образом вы оставите ваше лицо в его зрачках, на голенище его сапог, на рукаве локтя. Это зовется законом сельди больших городов“. Но вообразите прекрасные лоб мыслителя, узнающего свое лицо на пятке пробегающего мальчишки!

Он остановится в недоумении на углу улицы и долго будет махать палкой! На большие здания, с золотыми прямоугольными ночными очами, на двигался первобытный лес другой правды. Дикий, прекрасный лес новых видений надвигался на человечество, лес сновидений, недоступный старому железу. Уравнения нравов, уравнения смерти, сверкающим почерком, висели в воздухе среди больших улиц. Скитаться среди огромных стволов. Хвататься за невидимые суки воздушных деревьев, вставших среди города. Одиноким зверем в множестве листьев скользить среди стволов второго мира, дремучей чащей обступившего первый. Люди стали хитры и осторожны и, бессильные победить судьбы всего мира, стали относиться к ней как к мертвой природе.

Грибок жрецов, ведущих куда-то милостью чисел по закону рождения, быстро опутывал человечество, и слова их проповеди звучали набатом дальнего пылающего храма. Шест сетки был у меня. „Хорошо! — подумал я, — теперь я одинокий игрок, а остальные — весь большой ночной город, пылающий огнями, — зрители. Но будет время, когда я буду единственным зрителем, а вы — лицедеями“. — Эти бесконечные толпы города я подчиню своей воле. Волнующий разум материка, как победитель выезжающий из тупиков наречий, победа глаза над слухом, вихрь мировой живописи и чистого звука, уже связавший в один узел глаза и уши материка, и дружба зелено-черных китайских лубков и миловидных китайнок с тонкими бровями, всегда похожих на громадных мотыльков, с тенями Италии на одной и той же

пасмурной стене городской комнаты, и ногти, любовно холимые славянкой, все говорило: час близок! Не даром пришли эти божества — мотыльки Востока с кроткими птичьими глазами на свидание с небесными лицами Италии. Вернее — это черные мотыльки уселись на белые цветы лица. Золотые луковицы соборов, приседая на голубых стенах, косым столбняком рушились и падали в пропасть. Колокольни с высокими просветами клонились как перешибленный палкой и вдруг согнувшийся и схватившийся за живот человек или сломанный в нескольких местах колос.

Это сквозь живопись прошла буря; позднее она пройдет сквозь жизнь, и много поломится колоколен. Я простился с художником и ушел.

Лысый мерин через синее прясло глядит — хорошо, а?

Так на море во время учебной стрельбы сначала блестит огонь, потом доносятся раскаты выстрела и наконец, долго спустя, подымается столб воды — весть того, что ядро долетело.

— Ну, что же это? что же это? — воскликнула Бэзи, хлопнув в ладоши. — Боже, как глупо! боже, как глупо!

В самом деле на Западе, северные откосы Монблана, с большого плоскогорья черным потоком камней ринувшиеся вниз, а выше — стеной подымавшиеся по отвесу, были искажены в суровой красоте столетних сосен правильным очерком человеческой головы. Как мухи, в вышине неба жужжали летчики и суровые тени в черных пятнах собрались на нахмуренный лоб пророка и черные, спрятанные под нависшими бровями глаза, похожие на чаши с черной водой. Это была голова Гаяваты, высеченная на северных склонах Монблана, вырезанная ножом великана художника.

В знак единства человеческого рода Новый свет поставил этот камень на утесах старого материка, а взамен этого, как подарок Старого света, одна из отвесных стен Анд была украшена головой Зардушта.

Голова божественного учителя была вырублена так, что ледники казались белой бородой и волосами древнего учителя, струясь снежными нитями.

— Этой каменной живописи натянуты паруса взаимности между обоими материками, — заметил Смурд. — Паруса из множества людских сердец.

— Не правда ли, хороши эти пласты острого каменного угля, обработанные в черные глаза про-

рока? Говорят, что пастухи по ночам жгут из пламенной руды свои голубые костры, и тогда его глаза блещут гневом. Между тем столетние сосны были раскинуты на разных высотах лица.

— Боже, как глупо! Зачем портить природу? — недоумевала Бэзи.

— Если горы вторят гулким раскатом, отчего не искать каменных созвучий лицу?

— Друзья, знаете что, проведемте ночь на поверхности сурового глаза Гаяваты! Едва заметная тропинка ведет к нему.

— Я согласна! Ура, за мною бегом! — Этот голос был Бэзи. Но уже с третьего шага молодая девушка присела и произнесла: — Здесь чертовски острые камни. Я не понимаю, как можно итти? Разве стать козой? Что делать?

— Нет, нет, мы провели бы ночь как боги сумрака там наверху! Каменные терновники гор в уме мы бы венцами возложили на седые и черные кудри.

— Я полагаю, что хороший ужин внизу стоит воображаемых богов в воображаемых кудрях.

— Внизу есть сливки!

— Целый кувшин сливок.

— И чай, дивный золотой чай, старого душистого настоя! Что делать?

— И все же, и все же — вперед!

— Когда взойдет солнце, мы огласим горы древними криками и предложим святому бычка. — Закури солнце!

— Молодые боги, не слишком ли тяжелая участь — мерануть и дрожать? — А там внизу настоящие сливки.

— Зашейте рты!

— На чем ты сидишь?

— На мертвце. Он шел, боясь смерти, и умер.

Высокомерно пышны щеки дитяти. Мать печальна.

Угол здания каменного зверя спереди, — воздуха сзади вонзен в толпу. Дом этот — лоб слона.

Трубы незримых голосов приклеены к нему, как свернутые рукописи ученого, идущего учить.

Три черных знака Е, И, Т, чернеют голосом другой воли. Т, упав на развалины, темнее воли, как листья других столетий.

Завитки улитки, кривые близорукие глазки слона на доске лица, яйцевидной стены здания. Плачет ли оно? Окон ливень, жилой водопад.

Ножик плоскостей, чешуйчатое пространство. Панцырь досок залит дождем теней.

Толпы или прямоугольные глыбы?

Лезут, тянутся, громоздятся.

На сером рубле подпись казначея — это подпись месяца.

Дикий запорожец - свет разрубил на камни ночные облака, или юноша из ряда серых плоскостей склонен трудолюбиво над рукописью?

Но там, за облаками, как увядший осенний лист, изгрызенный червями, лице. — Одетый одеждою площадей, Город встал и несет рукопись.

Мне понятно только первое слово из его свертка.

А на ремнях, на горбу пустой и дикий небоскреб темнеет мертвыми дырами окон точно ранец.

Город съеден червями окон, как осени лист.

— А, русалка!
На чем сидишь, русалочка?
На мертвеце.
Он, точно кресло, неподвижен.
И камень непоседливей его руки.
Да, камень — егоза с ним рядом. Покой великий.
Утес булыжный конь скакун. Он гомер. Он за-
мер. Он вымер.
Говор сбоку:
Слушай, нож есть?
Зарежем! купец?
Стой!
Врешь! не уйдешь!
Урр! урр!
Ать!
Стой!
Ать! Хырр! хырр!
Не уйдешь!
Ать!
— Ать!
Есть!...
Друг, готов...
Сколько?
Сейчас посмотрим. Заработали.
Кол из будущего: Как жалки они! среди
каменей!
И вот, научившись слабым месяцем обращать на-
ше счастье кругом солнца мировой радости, мы

нашли его, но это случилось не раньше, как вся земля стала съедобной и младшие братья человека — растения, коровы, травы — не спяли оков. Так блеском мысли кончилась борьба города и деревни.

И вот мы, мы строим наше общежитие на законах звука, мы, граждане жилых парусов города-звуча, мы, населенные людьми, волны и свисты чьего-то голоса, несемся в мировое пространство. Мы нашли счастье, как утомленный путник в пыли и грязи находит на дороге сверток с белоснежным бельем. Разрядом мысли, грозой мысли кончилась тяжба города и деревни.

Ах, драки знаков свинцового набора, что они лежат в другом порядке, в порядке другого слова, чем то, которое им по сердцу, их кладет свинцовой пылью одетая рука, а они обвиняют друг друга, и думают, что ять больше виноват, чем е.

Неговольцы нечтава вычитава и общие беговол,
ворославные дела, виды на всеобщее нежево и неж-
ное дружево, в память тех, кто не живы. Века еди-
ножизния и единословия отворили ворота показ
кровавых ран.

Устав железных застав.

Остава царей в стране трупов.

Остав остова боевого на поле.

Всеустый язык справес, оправды и сверхправды,
всегорлый оррави:

— Не надо правды!

— Дай правду!

Самовлюбленные верослави смерти в чугунном пан-
цыре. Войногробатые храмы на шурупях в облаке,
море и суше. Спрославль зимней выюги, где в длин-
ных песнях блестят чезори детей, объаренный още-
ренный латерик народа. Летучие братерики морец-
ких людей.

Мировой хатерик в огне, в дыму, люд местерика,
и общий ратерик и ополчения грозный детерик лет
войн. Сыпняк, чума, цынга трупноокий тленноум-
ный дочерик безвдохновенных земель. Добыча
сверхправа. Погоня за мировой соистинным за сочум-
ным трудом, за соцелью, и общим сочалом всех
племен, всех ровей, поиск мирового ровестника,
выиск угодного труду строя.

Совера изнеможи полей севера в советы сообеты
бороться!

Влада худесников и неимеев, бедесников трудоты.
Неимен всех длин соединяйтесь!

Неумен умейте рост умства и думственной жизни,
умственного духа голоса нератяев и стон не-
латяев.

Рев нехотяев быть нехотяями и нелатяями.

Нежелаи поддаџства и законов. Нидеи надеи, яро-
волы были и старикот, недобровџцы милодес мо-
лодес, отриџанџцы. Прониџанџцы в будесного миры,
гордые будесники. Пониџанџцы камней вои[ны] лет,
обниџанџцы полонџцы, нищие войны, безочесные
лики, безотчесные сированџцы. Самогнанџцы в даль,
в чужбу плачевенџцы, плакахари, вопилы о гибнущей
родине, испуганной мировой корью, — мы мировая
корь.

Хатославль песен певучего слога, старомилы, шкур-
ники, баромилые годы, брюхомолы, особая порода
самобожеств, пузомолы, брюховеры, смежни зарею
главной, мозговеры.

Грозные раскаты ночезорь нищеправия; жезл нич
имеев, возгорда нищеты, голытьбы голяков, власть
мировой вџщеты, первое явление изумеев, низвера
низлом и надлом имеев. Учет богов земного шара.
Тяга мировая в зарод заим. Выгол земли.

Огол зверя, обнага зла. Ничумен, ничтворы, нич
любы, несиян, учет хотежей люда, неясный кодеж
в надобу дорог, накупляя выгод, скупы, соторгџ
море волы и маловеры рыдеж столетий.

Суетумџцы о прошлом. Сквозят лиџарни вырода
голубой крови других веков, зарода вџщей иности.
Вон воля к вне блуде, внепутежу поиск основных
сутежей. Мировой жутех перед колом войны во-

ткнуть в почву лет мира. Верхизна времен. Равизна и ровизна гривизны времени как воли, в как мировая вера первый выпыт тайночтения, поиск меромесла.

Натуга силы, потуги. Натугам дикого лука времени, мы люди выпугаи мирной глупости, попугаи сосел, поиск милого негочисла, строгого верочисла. Входы силоук и милоук и основ миро-числа, пола для мирописи, утесы числокаменных капищ, дикие хребты числа, что бродил по вашим вершинам.

Слияние племенин. Закат племенщиков.

Небесный шароватень, дозором катясь по круговатню, оденется людским мохом как ком глины солью безгосударственным человечеством. Это будет мир людавы. Летютни его окружат прекрасным запахом цветка земного шара, чтобы его прибилизала к ноздрям дева вселенной.

Это будет мир сомиренцев. Сомира.

Согласен мирового строя.

Со влазны непокоренцы.

Нежелаи старот, обвет хот жизни, враги ветховенцев, старованцев, инесники быта, спорованцы с ними и дракованцы.

Идут в столетье теломира и мясолада, мясопокая и духо-драк. Духодоры думной драки. Заулей, волна мирового соруха, изруха и возруха, неруха умеев.

Вопяки и кричаки про лоскутья земного шара умолкнут.

Отпускаи обид, молчалевик эватерик, молчевик и криковик.

Жилой житерик севера оскудел.

Гластелины сменят властелина.

Гладыки, голодыки владыку. Инеющий Бытерик
люда инеет и умнеет.

Катериковые годы в объятие kota. Забудут сыно-
венцы человечества.

Летерик единства.

Великая хотея мира отерика любви и нег, при-
ход буданцев, будилище войны, выгод великих, вы-
год и гогод и соугод, плаванцы в небе, гнилолюбы,
тухлоумцы, но придут сиян своей жизнью и лук-
нут человеческим родам к новым дооычам.

Разрушится темница частериков земли, окончится
великая небыча в полоне пространства.

Не надобны проборы на голове человечества.

Пусть люди перепутаются как волосы пророка.

Наш земень станет великой грезарней.

Про некоторые области земного шара существует выражение: „Там не ступала нога белого человека“. Еще недавно таким был весь черный материк.

Про время также можно сказать: там не ступала нога мыслящего существа.

Если не каждый самый мощный поезд сдвинет с места все написанное человечеством о пространстве, то все написанное о времени легко подымет каждый голубь в письме, спрятанном под крылом. Это всего несколько вскользь брошенных, иногда очень метких, замечаний. Я не говорю о чисто словесных трудах по данному вопросу, которые не ведут к цели и служат плохим топливом паровозу знаний.

Таким образом случилось то, что юность науки о времени отделена от первых дней земной жизни науки о пространстве приблизительно семью „годами богов“.

Семью триста-шестидесяти-пятилетиями, которыми удобно измерять большие времена, большие полотна веков.

Казалось, наука о времени должна идти тем же путем, которым шла наука о пространстве.

Избегая заранее готовых мыслей открыть свой разум, как слух, к голосу опыта, лежащего перед ним. Если в ушах не будет внутреннего звона и навязчивых голосов бреда, голос опыта будет, конечно, услышан.

Задача — увидеть чистыми глазами весь опыт в кругозоре человеческого разума.

Мы знаем, что в основу науки о пространстве лег опыт плотников и землемеров, искавших равные площади полей при отводе участков древнему землевладельцу.

Этим людям знаний приходилось уравнивать прямоугольники и треугольники полей с круговыми, и решать написанную пером гор и долин задачу равных площадей для полей неравных очертаний. Наоборот, точные законы времени смогут решить задачу равенства во власти, справедливого распределения земельных участков во времени, задачу разверстки учений о власти и размежевания поколений. Так возводится правда во времени.

Чистые законы времени учат, что всё относительно. Они делают нравы менее кровавыми, странно облагораживают их.

Они помогают выбирать сотрудников и учеников, позволяют проводить прямую кратчайшего пути к той или другой точке будущего, а не идти сложной извилистой дорогой обманчивой погони за настоящим.

В дни расцвета каждому народу свойственно понимать свое будущее как касательную к точке его настоящего.

Каждому народу свойственно жестоко разочаровываться в добротности этих первобытных способов заглядывать в свое будущее.

Они дают справедливые границы каждому движению; например, устанавливая межи между поколениями, в то же время они позволяют заглянуть

в будущее, потому что законы времени не могут изменяться от положения точки, в которой находится изучающий человек, исследующий время. Открытая перед наукой о времени дорога—изучение количественных законов нового открытого мира.

Постройка уравнений и изучение их.

При первом же взгляде на найденные уравнения величин времени выступает несколько своеобразных черт, присущих только миру времени и заслуживающих быть перечисленными.

МАТЕРИАЛЫ И ОТРЫВКИ

Залюбясь влюбяюсь любима люблея в любисвах в любви любенеющих, любки, любкий, любрами олюбрясь нелюбрами залюбить, полюбить приполюбливать в люблениях любеж. Три-необлюблютви любывать не любхые, любезные, любезные, любчика с любницей, любезного с любезной, любын, любынный боголюбовная ясть люб любезя. Призанелюб-любивать. Прионелюбливать любом любное любить. О люб, о любите неразлюбляемую олюбовь, любязи и не любии—долюбство, людо, любенный, любив любиз, любенку, любеник, любичей в любят любницы, любенный любех и любен о любенек любун в любку, бубочное о любун. Любить любовью любязи любят безлюбци. Любанной любим принезалюблен любынный любаной к любнице, люблеу солюбил с любецом любны любина любезбест любковая, любливая в люблюбых любской влюбчий олюбилзденнаю любимое безлюблюбя любой любельников любнел в любене, любые нелюби любзя.

Любный прилюбчивое любилу любеж, любилых любашечников, в любитвах и любог олюбил, залюбил, улюбился в любциу. Любравствующий любровник любачест. Равлюбил любиль занелюбил любища любоя любаны любною люблин любкой, любкой. Принеолюбил люберей любана любоша любящих любоя любина.

Принезалюбил любря любаны любило любаны залюбилось нелюбью к любиму, возлюбила к нелюбины, любницей любимоч, прилюбилась в залюбье любящий нелюбка в любачестве люлучий невзлюбчивость; в любиль любила любно не любиться прилюблявать до не залюбило до нелюби любницей любка нелюбязем любницы любязь любакон залюбила нелюбою в недовлюбь в недовлюбленную любошь в безлюбную люботу прилюбленную любима излюбленнейшего любейка любана.

Равлюбись в нералюбиль улюбчиво любить любейка любца разлюбил неотлюбчиво любить—прилюблять не любовую любвню, любирей не любящую любим любимый, олюбил нелюбок любльй—любивший. Любеж прилюбязи как прилюб

онязавна от любвейших любви. Любьем любилем залюбован. Он любвейник, любвей. Любяжеские любавы и любравы любоев, в люблянсновозамобчий и любей, любота „сирота“ оседрота. Люб, „бой“ разбой. Любезнавы Любезнавка, любо --- русална любека лобенкой смело — русские. Я любичь любимый. Любиной любель (отдельное выражение любви). Я любень невозлюбил любун любильялюбилья любви незлюбви любезным любильями о любил. Илюбез залюбил, залюбился в любви. Любок любачеств любящих любитель люблянствовать любя. Любязей любких, любдых, любилой любли, перелюбишь. Любия любри любрамю с люброю любляться любле с любовенным прилюбом, любязь любви любезной любьем в любитвах люблю; любровниа любнеющих в любравах, залюби о любви любок любивь о любинелые любезные безмобочные в любести любра любезной залюбое полюбить любезами, залюбить любочейнейшие любок улюбил, прилюбил, залюбить, приполюбливать. Любиканице, перелюбчивое. Позалюбчивать занелюбины, припоразлюбивать, Любик — любнкалые нелюби любязя, нелюбок нелюбреть—нелюбить любицу любщей и любри любящую, возлюбил Голюбицу и голюбяшя голюбь и голюбциа, олюбрям. В любок, залюбишь любячеств любня любильной. Любак, пролюбне. Любочеств любран любравнок любнеющий с приолюбинелом любиллом, влебеть. Любец с ягодшей любавы. Любну в любрве любравника любить. Нелюбенкий, любучий, любовня — жаровня любить. Любею к о любе. Любщина, влюбравы, влюбивинь прилюб. Любня люблая. Улюбил в любил любовь. Либина. В любачесповах и любочеспов любристая любезка олюбила предлюбная предлюбье. Любопенные: луненя залюб любви люббежа любовью в Незалюбливых в любежах. Любеть любичками и любрами любана и прилюбчика (Лель- бить ле-бить) любель залюбила в не люил улюбчив колюбель государь-голубой (любой). Любтк в любви, любуд Любище — место любви, в его бляка в любри в люблен любящей влюбляия любечесном залюбчивою. Любен (кого любят) О вод-любь (все что можно любить). Любяжосных любимов, о любись нелюбящийся.

[ЗАПИСКИ ИЗ ПРОШЛОГО]

(1)

Любо ведать себя женихом русалочьим и знать, что это знают и люди и, плавая, знать над подбородком ласковый локоть русалки, любовно припавшей к тебе своей [щекой] [разматывая] по воде и сврим и твоим плечам ласково холодные свои волосы. Любо выйти к [иным] морским людям и долго [смотреть] на них, не понимая их печей тела.

Пустеет берег, на обед иду в мой отдых. Я уже очень много забыл, но Позаревский уже сидел и возился с песиком. Почему меня сразу потянуло к нему? Потому ли, что этот моряк русской службы—потомок Полуботка, и мой дедушка... Может быть предки просто поздоровались нами, как перчатками. Бывает, что перчатки чувствуют [живое] влечение друг к другу, когда мы не снимая с рук здороваемся ими.

Гонимый морем, я бежал по камням, и я снял обувь, и потупя глаза, прошел мимо храма двух.

Это была прекрасная любовь. Они молчаливо сидели у костра своей любви, у рыбацкой лодки, где плески моря, и молча смотрели его пламя, похожие, как дикари сидящие у костра.

Я помню его подбородок, большой белый лоб. А кто она. Темные вольные брови, худенькое личико. Что еще? Черные глаза, эта дикая волнующая рот усмешка черкешенки, украинской черкешенки поступь.

Она ухаживала за... я сидел как очарованный, молчал, и — что всего глупее — ел, ... с ненавистью и враждой.

Три раза встречал на берегу.

Я морской жених, любим [русалками] Черного, Каспийского и Балтийского морей, знаю их бешено-сладкие поцелуи, и летел закружившись и закрыв глаза по все более и более [коротким кругам]. Что-то дикое, нежное, прекрасное [явилось] на ее губах...

Ее отец суровый моряк...

И эта ночная истома, ночные деревья над серебряными ручейками, пугала певучего сердца, заборы и плетни, рассказ рыбака художника — до свиданья, до свиданья!

Роскошные ночные кудри деревьев, синие, желтые и серебряные шелка неба, похожая на горелые сливки туча около месяца.

В эти дни я бросал червонец своих суток — мешок их исчез, — и мы... на число каждой [встречи] и как вертелось колесо счастья. И купанье, где смеется Рахиль или Ревека узкими глазами.

Хорошие вещи морского берега: отпечатанное на темной загорелой коже кружево женской рубашки, эта метка темно медного цвета, и золотисто нежно серебряного забора теней около плеч, висячий мост над грудью и кругом локтя.

Хорошо, когда вы лежите рядом и изучаете золотистый узор тепло-темного токаря загара на нежной белизне тела девушки; хорошо, если золотистый волос вьется около ушка и муравей ползет по плечу, и измеряет грубое [великанское] дыхание человека мелким лучом своей походки. Хорошо, когда оваренный видением [выйдет, не ведая, в пространство...]

Общество было равнообразное, два или три трупа древних морей сидевших на берегу неподвижно.

(2)

А эта осень в Куоккале!

Неясные разговоры о водопаде, перед которым, разинув рты, стояли черноглазые мальчики русских деревень, предводимые учителем, и черное море с врезавшимися в него серыми каменными беседками немецких дач, об них шептались: „это поля для немецких пушек“, — я вас не забуду очень желтые яркие цветы ненавистью отравленных глаз на вымерших дачах и прыжки обратного пути по камням вечером около брызг и пены и тихое присутствие человека за стенами вымершей дачи, — ведь это во время войны, его удары сердца в молчаливом переулке.

Эта сумасшедшая осень гибели царей великой страны в маленьком уголке перед основной крепостью столицы, затаенной в морской луже. Вы идете мимо деревянных сеток рыбака, из прутьев ивы, вы слышите удары сердца того, кто наблюдает за вами оттуда, и, точно мяч, пойманный в игру людских юношей (приморских камней), прыгаете, испытывая толчки, на воздухе из одной ка-

менной ладони в другую, то падая, то взлетая, ломая путь мяча, летите по вечерней лапте каменных игроков.

А вы видели две толстые медные проволоки, перевязанные третьей? И я перевязал проволокой моего лета два устья Невы и Волги. Я и море — мы соединили свои голоса и я пропел Разина, может быть первый на этом берегу, шагая по пятнам камней.

А Евреинов! Вы помните его писал Бобышев — гладкие средневековые волосы, его знаменитый деревянный ворон, и байеньки Каменского в исполнении толстой Блиновой, — дикарки с очень теплым, пушистым взглядом.

Песок.

Ну кто он?

Людские кустарники, где люди цветы и листья на чешуйчатых ветках из рубля, или копейки; люди вместо листьев на серебряных ветках — какими бы веселыми ногами побежали бы вы друг к другу, как бы рассмеялись эти два цветка, с парой людских глаз, но нет их разделила серебряная ветка и держит поодаль и тянет в сторону, и они бросают небу только скорби, в тугих воротничках молчания. Знайте, их много их много невольников серебряной ветки!

3.

19 октября 1915 г. Я снова у [Веры Б.]. Я сижу рядом с нею. Какое счастье. Гер[н]ов тоже. „Это хорошо сидеть рядом с невестой, скоро женитесь!“ — закричала госпожа Б. — Как, Вера — невеста. А я и не знал. Новое горе.

Признаюсь слезы подступили к горлу, я почувствовал жгучие слезы в горле. Кругом внимательные изучающие люди. Но может быть хорошо, что она незамужняя. Вера грустна и строга. На коленях ее черная повязка — знак печали. О ком? Она сидела против меня, неловко положив ногу на ногу и курила. На ней вязанная желтая рубашка для ходьбы на лыжах, и вся она хрупкая, грустная, утомленная. Она курила и какая-то трогательная неловкость была в ее руках. Я слишком упорно посмотрел на нее и она неловко поправила край платья.

Говорили о погромах. „И нас будут громить“ — сказала она, курия. И северная воздушность и голубые глаза, грустная, уто-

мленная, почти обреченная, и твердый взгляд, и усталость после перевязки ран, — ведь она сестра милосердия.

Вера невеста, я заплакал мысленно, как обиженный котенок; Вера сказала: „пойти разве на войну“; она налила мне вина. Можно?“, спросила.—Курите,—курить мужественно,—заметила она, у ней много простоты и оттенок суровости. Она немного холодна и жестока; она рассказывала про охоту.

26 окт. — Я снова там; я смотрел на эти воздушные волосы севера — облако прически над лицом, большие голубые глаза, похожие на голубой жемчуг и его строгая нить около плеч, и слушал. Радость, на руке еще нет золотого кольца.

Вот отрывок разговора: „Я выстрелила; заряд попал, ну в зад зайцу. И я просто не знаю, как взяла его за голову и стала его так, колотить о ствол. Ну, он так кричал, так кричал, просто не знаю. Мне очень жаль было (она закурила)—зайца. Она едва заметно рассмеялась.

Ина взяла шлем серо-голубой; я его надел и сделался похож на воина средних веков. „Вы похожи на воина!“ — Слова ее редки, но нужны и уместны.

28 — день моего рождения и прекрасный пожар здания Уделов на литейном. Совпадение. Пожарные, их красные тела в сером колеблющемся дыму, равнодушные раненые, в нетронутых пожаром покоех. Стоны, крики, зарево меди на скачущих колесницах, конские копыта сразу занесенные на воздух в диком песенном упоении, бешенстве порыва — это воины древних столетий — недаром носят медные шлемы, — зовут человечество умерить ярость солнца и бросить глупые скучные войны. За нами, за нами, выл дикий грохот колесницы пожарных, чей путь освещают скачущие. . . смолой и прыгающее зарево всадника, резкие вобы трубы. Я стоял напротив и наслаждался тревогой одних и радостью других. Утром пил мясной сок.

Был у моего друга; я рассказывал бурно свои впечатления. Он давал советы, как опытный друг: „Попытайтесь ухаживать, помните что вы знакомы без году неделю; чуть что звоните ко мне. Встречайтесь, помните, что нужно покорить. Мой отец десять лет ухаживал“.

-- Мы заговорщики! — воскликнул я, целуя его.

Я поклялся проиграть до конца, если это будет так. Я любил его, мужественного, сурового человека, с горячим сердцем. Вечером пил за осуществление самых пылких и смелых надежд. Семилетний мальчик, сыненок знакомых, читал: „О, рассмейтесь смехачи“. Мы с ним беседовали и чувствовали заговорщиками среди взрослых.

Неужели это будет только сощ?

Мальчик, высунутый из коляски, смотрел на меня радостными глазами, детски живыми и задорно блещущими, читал из меня и после всей рученкой залезал в какой то кисель, засмеявшись и оглядываясь на взрослых.

Или за этой Верой, как за Верой Лазаревской блеснит копьё первой Веры Казанской, умевшей умереть среди цветов, смеясь, среди подруг, звавших ее за руку, чтобы разбудить. Но мак убивает, как выстрел.

Да, за последнее время я все чаще и чаще чувствовал блеск копья первой Веры, самоубийцы, на прекрасных девических крыльях 17 лет отлетевшей к предкам.

Ее жемчужно-серые глаза, северные сдержанные движения, рассказы про диких коз на ее родине — во время бурной войны, все копыта коней которой и колеса тяжелых пушечных станков, призраками прошли через мое сердце за два года до вещественной бытовой войны, я, свернувший в своем сердце знамя дикой свободы моего народа, и она, говорящая и на языке моих врагов и по крови — крови врагов, но ухаживающая за воинами нашего стана и от того такая грустная, думающая — кто мы. Нет мы первые из военной бури выходили на сушу другого человечества и знали это только вдвоем.

Чао плескала по слуху чашами из самого чистого звука, точно он вылетел из горлышка шелковой славки, выщербтаный ею, этим зрительным храмом черного солнца, отчего солище светлее небесного на облачно-каменной громаде серо-серебристого оперения черноглазой птички.

Чао плескала мотыльками и бабочками — этими умными кражами у неба его красок заката, его тепла, огня и золы — выставленными на крыле, — и даже продавала напиток мотыльков-толпам, семьям, подругам, толпе корявых и толстых, нежных и тонких ушей.

Чао порхала крыльями моря мотыльков самых разных, каких мы видим от рождения до смерти, — по ушам людей, и как козочка бродила копытцами одежд бабочки по траве изумленных взглядов. Чао часто смотрит на открытое письмо с древним самураем в броне из чешуи, его высокомерные брови падающие вниз на переносицу, как крылья морского орла, летящего с Фузиямы на рассвете солнца к берегу, озаряющего рыбаков и пустынный берег и сеть клетотом вершин.

Я та-же какой была при Гайявате и Ману и Фу-си и я, верное зеркало, отбрасываю луч солнца под певучим углом в зеркада черепа. И вот я снова черноглазое зеркало между солнцем и человеком на страже чистоты чисел. Я вижу сейчас глаз Гайяваты. Узнал ли ты меня о человек? — „Звучобны звукотные дали, вой, вой, зиарь: зов звайного зира“.

И из-за густых кустарников леса выходил с копной взъерошенных волос, как утесы „Пьяного Бора“, Вася Каменский и долго испуганно, не понимая, смотрел на нее. Может быть это звездочка лепечет? Потом засмеялся, понял и начал щебетать и славка черноголовая... [аристократка сосновых вершин]; и они щебетали вместе, состязаясь в коленях, и Вася написал: „песнияти, песниянно, окаяно, окаян“.

Потом Вася долго ухмылялся, узнавая в загадочно [распо-

ложенной] хвои и мху в лице товарища и говоря: „Так вот как!“ — радуясь прекрасной радости.

Так у меня глаз Гайяваты да славки? — повторил он..... [и он спустился сейчас с облаков]. И он там скитался? Долго бедняга! Что, небось радуется во мне, как канарейка в клетке; Наверное проголодался. Чем же он питался там: букашками, и муравьями? Разве есть там в облаках букашки и муравьи? Знает куда спуститься! Небось холодный. Что-ж, ухмылялся Каменский, накормим его. Будем питаться зрелищем девушки. Накормим и Гайявату. Ведь ты только подумай: это не шутка 300 лет носиться по небу между бурями и какие грозы бывали, прямо страх берет едва подумаешь. И не знать ни крова, ни пристанища... [если он думал] отдохнуть на какойнибудь птице, то птицы отгоняли его и били клювом. [Так значит он прямо из тех собраний индейцев] в красных и синих орлиных перьях, с высокими луками, собравшимися у костра, и сев величаво предлагал трубку самому солнцу — потому что мудрецы знали, что если часть бывает меньше целого, то часто целое меньше части...

Чао разносила по ушам, то корявым, как старухи, то невинным как девушки... [ведра своего имени и позволяла пить немного влаги из моря мотыльков с голубыми крыльями и узором малиновых угольков], кража бабочкой вечернего заката, испытать сладкой влаги, освежающей уста смертного.

1

И тогда я славил государствокосых и государственноких. Ведь я люблю сидеть рядом и думать, что на мизинце не ноготь, похожий на римский щит, не ноготь.... я утреннего неба озаряемого облаками, но народ, правительство, печать свего председателя, удивляющего других, что он просто живет и каждому подает руку, и имеет удивительные носовые платки—чем он еще может обладать, председатель ногтя? Он, чарующий подданных белизной носового платка, глава страны на ногте мизинца, среди зеркал счастья. Государстворукая, вы сидите и смотрите далеко на землю и у вас не ногти, как у всех смертных, а государство. И я касаюсь губами по очереди государств, вместо ногтей, ногтей вместо государств, и знаю, что я самый верноподданный из всех людей. Вот вы подняли взоры, и я вижу голубую ручку, и взмахи весел, и плывущие по течению венки.

2

А на цветах и устах живут духинни; малы ростом и образом левы. Но одеяния имеют велики. И человеку ближку восстают наги и колыхаются одеяниями и вертятся, и ткани свиваются и кружатся и нас касаются, и тогда мы говорим: душисто. А и есть другие, целомудренны и стыдливы, и нужно пройти близко, чтобы узнать о них. И не восстают наги.

И когда всё задремает, прилетает некий дремач и берет всё как зреньшко, в свой клюв.

3

Суровая прелесь гор. Я видел суровый воздушный поцелуй, посылаемый одной пропастью другой; я видел горы, вытянутые для поцелуя у одной пропасти навстречу другой, я видел губы пропастей, соединенные поцелуем; вы не верите, вы готовы

засмеяться. Это естественно: вы родились в городе, я ходил, как пешеход, по каменному поцелую двух пропастей, видел, их слитые вместе уста бросали сумрак на речку вниз. Ноги каменных божеств, вкованных в утесы,—сердитым оком исподлобья, заломив руки, они смотрят вниз, сурово закованные кольцами суток.

Я видел труп ветра, когда его волокли через горы, и через пятки было продето кольцо. Слышал дикую прелесть пастушеской свирели: во время дождя пастухи собирали ков. Видел прыжки водопадов по морщинам каменеющей песни. Точками ползали козы по стенам ущелья, но ко мне в долину долетали разбойные свисты ветра и человека. Видел тела каменных пород настолько близко, что между ними едва может пролетать голубь; между тем серый поток несется вниз между ногами пропасти, унылый плеск голубиной стаи у подножья прямых отвесных громад. Видел утесы, покрытые сотами мусульманского улья; их увеличивает отдыхающий орел, рога козла, вделанные в ограду сакал. Смелый взор жен сквозь прорезь черной ткани — я был в Дагестане.

4

И вот он приехал. Он вошел в сад хмурия брови, и дал два выстрела: один в небо, другой в землю, а третий... третьего не было. Он был предводителем повстанческого отряда: целый уезд считал его своим вождем. Серебряное оружие вручено ему было от отряда. Красный жупан был на нем. Он шутил, смеялся; рубил дрова, грелся у печки и пил чай и, перелистывая одной рукой, торопливо читал „Войну и мир“ Толстого, как человек во время короткой остановки торопливо пьет стакан чая. Весело боролся с мальчиками и тихо, беззвучно хохотал, когда они его взяли в плен и несли за руки и за ноги. Это было известно раз навсегда, что он был назван кузнечиком и ни на что другое не был способен. Если вы не верите, посмотрите, как он ест и пьет сейчас молоко. Теперь верите? Чем он виноват, что он такой уродился: длинноногий, худой, с головкой кузнечика, прожорливо и весело прижатый к стакану молока. Он возвращался из отпуска и сейчас едет к отряду в Карпаты. Он заехал

сюда, чтобы показать себя, каким он был перед смертью: не всякий знает, что он даст 10 очков и смерти. Он шутил, надевал на голову сморщенный недовольный череп, прятал голову под жупан и расхаживал длинными журавлиными шагами по крыльцу, вечером когда только масло в чернильнице освещало людей. И было страшно и по новому.

И только ночью, когда все улеглись, начался жадный суеверный шопот. „Скажите, как вы думаете, что будет дальше“, — глухо спросил он с деланной важностью.

П Р И М Е Ч А Н И Я

ОТ РЕДАКЦИИ

Четвертый том собрания произведений В. Хлебникова включает его прозаические и драматические вещи с 1907 по 1922 гг. Хлебников - прозаик почти неизвестен читателю; вместе с тем несомненно, что среди современных поисков прозаического метода и стиля проза Хлебникова представляет особенно большой, и не только исторический, интерес.

Есть ряд свидетельств и указаний на то, что сам В. Хлебников желал собрать свои пьесы вместе.

В отдел прозы входят прозаические вещи разных лет начиная от ранних опытов словотворчества („Песнь Мирязя“) — 1907 г. и кончая автобиографическими фрагментами последних лет.

Автобиографические вещи Хлебникова различны: иногда это рассказ („Перед войной“), иногда почти записи в дневнике. Хотя редакция многие из них извлекла из черновиков, но они несомненно рассматривались Хлебниковым как художественные произведения и должны быть включены в том прозы. Не говоря уже о характерной для всех произведений Хлебникова автобиографичности и общей условности границ „рассказа“ и не-олитературенных жанров — имеются объективные данные о различии между автобиографическими вещами Хлебникова и его дневниками, те и другие совпадают по приводимым фактам, но разнятся по стилистической обработке. О том, что Хлебников сознавал автобиографичность и „небеллетристичность“ своей прозы как художественный метод, свидетельствует запись на одном из черновиков. Предполагая, повидимому, написать большую вещь под названием „Озирис XX века“, он записывает: „Писать, как написано „Ка“, „применить метод писем“, „метод отрывков“, „описания вещей“, „разборка сундука“.

Название „Кол из будущего“ было дано самим Хлебниковым нескольким утопическим вещам, что дает несомненное право распространить это название на целый ряд фрагментов о будущем,

В последний отдел — „Материалы и отрывки“ — вошли либо заготовки, вроде „Любхо“, либо вещи незаконченные или сохранившиеся в отрывках и написанные настолько неразборчиво, что в тексте пришлось сделать ряд пропусков и дать лишь их приблизительное чтение.

Фотография В. Хлебникова относится к 1916 году ко времени его пребывания на Украине. На фотографии он снят вместе с Г. Н. Петниковым, любезно предоставившим ее издательству по нашей просьбе.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПРОЗА

1. Песнь Мирязя — начало печатания в сб. „Пошечина“ (1912 г.) и окончание — в сб. „Молоко кобылиц“ (1913 г.); датировано 1907 г.
2. Искушение грешника — первая напечатанная вещь Хлебникова — помещена была в журнале „Весна“ за 1908 г., № 9 (повидимому, не целиком).
3. Училища — напечатана в „Творениях 1906 — 08 гг.“; повидимому, принадлежит к наиболее ранним вещам Хлебникова.
4. Зверинец — впервые напечатан был в сб. „Садок судей“ I (1909 г.); написан скорее всего около этого времени. Посвящение „В. И.“, повидимому, следует расшифровать, как „Вячеславу Иванову“. В „Своеси“ Хлебников указывает, что „Зверинец“ написан в „Московском зверинце“.
Ховун — напечатано в „Садке судей“ II (П. 1913 г.); написано, повидимому, значительно раньше; примыкает по своему характеру и стилю к ранним вещам.
6. Простая повесть и 7. Юноша я-мир — напечатаны в „1-ом журнале русских футуристов“ (М. 1914 г.), написаны, повидимому, значительно раньше.
8. Выход из кургана умершего сына — напечатан в сб. „Ряв“ (П. 1914 г.), где помещены вещи 1908 — 14 гг.
9. Охотник Уса-гали и 10. Николай — напечатаны в сб. „Трое“ (П. 1913 г.); следовательно, написаны не позже 1912 г.
11. Ка — напечатано в сб. „Московские мастера“ (М. 1916 г.); о времени написания „Ка“ в черновиках сохранились следующие заметки: „Начал „Ка“ 22 февраля 1915 г. переписал 9—10 марта 1915 г.“, и: „Я писал „Ка“ около двух недель, дней 16 с перерывами“, „Ка“ шутивно-беззаботно“. В „Своеси“ Хлебников поясняет: „В „Ка“ я дал созвучие „Египетским ночам“, тяготение метели Севера к Нилу и его зною. Грань Египта взята — 1378 г. до Р. Хр., когда Египет

слобил свои верования как горсть гнилого хвороста и личные божества были заменены Руковолосым Солнцем, сияющим людьми. Нагое Солнце, голый круг Солнца, стал на некоторое время, волею Магомета Египта (Аменофиса IV), единым божеством древних хрзмов. Если определять землями, то в „Ка“ серебряный звук, в „Девьем боге“ золотой звук, в „Детях Выдры“ — железо-медный. Азийский голос „Детей Выдры“, славянский — „Девьего бога“, и африканский — „Ка“. Поясняет также „Ка“ и отрывок из брошюры Хлебникова „Время — мера мира“ (П. 1916 г.): „... в 1378 году фараон Аменофис IV совершил переворот, заставив подданных вместо неясных божеств поклоняться великому Солнцу. Заменяв почитание Амона почитанием Атэна, узкогрудый как ратник II разряда, окруженный заботами Нефертити, этот друг верховного жреца Ан и Шуруру, не он ли блеснул вновь в Хозрое (533 г.), признавшем священным пламя и в 1801 году с его почитанием верховного разума“.

Четверостишие „И на путь меж звезд морозный“ написано на смерть поэта эго-футуриста И. Игнатьева, перерезавшего себе горло в 1914 году.

М а с р — древне-еврейское название Египта.

А м е н о ф и с — Аменофис IV, египетский фараон, религиозный и социальный реформатор. Он ввел культ Атона, отменив почитание верховного Амона фиванского. Аменофис уничтожил многобожие, устранил старых жрецов и ввел единобожие. Верховное божество — солнечный диск, бог — Атон — должен был одинаково чтиться по всей земле, и притом не только как вещественный диск, но и как верховное, действующее через солнце, божество. Фараон переименовал свое имя на Э х н а т о н („угодный Атону“). Он является автором дошедших до нас мистических гимнов в честь Атона.

А и — верховный жрец Атона друг и преемник Аменофиса IV, именовавшийся „отец богов“.

Т е и — мать Аменофиса.

Н е ф е р т и т и — жена Аменофиса IV.

Х е п р у - Р а — солище-жук.

С у х — Сутех; божество азиатского происхождения, бог водной стихии.

Мневис — священный бык.

Бенну — птица феникс.

Хапи — Нил.

Шеш — вероятная транскрипция Хех — бог вечности.

Акбар — великий могол Индостана (1542—1605 гг.), царствовавший с 1556 г. А. завоевал весь северный Индостан, организовал управление, превратил страну в цветущее состояние. Основное его дело было в примирении различных народов и религий; он ввел равенство всех вер.

Асока — знаменитый властитель индийской династии Маурья, царствовавший в III в. до н. в. Особенно замечателен распространением буддизма, центр которого он создал на о. Цейлоне.

Ен-сао — слюна стрижей (ласточины гнезда).

Масихаль Деджал — антихрист.

Виджай — имя мифического царя, первого арийского завоевателя острова Цейлона.

Лейли и Медлум — название двух арабских влюбленных, принадлежавших к двум враждующим бедуинским племенам. Судьба их напоминает судьбу Ромео и Джульетты. Имена их — любимый символ верной любви в восточной повви. О них слышен на Востоке ряд повм.

Монтесума — последний властитель Мексики (1480 — 1520 гг.), при нем Мексика была завоевана испанцами.

Птица Рук — мифическая птица арабских легенд.

Ганион — знаменитый карфагенский мореплаватель V в. до н. в., путешествовавший по африканскому побережью.

Нефер Хепру Ра — тронное имя фараона (прекрасный жук солнца).

Гатчетсут (Гатшопситу) — царица Египта из 18 династии (XV в. до н. в.).

Анх-сенпа Атен — дочь Эхнатона.

Хут Атен — новая столица Аменофиса IV (Эхнатона).

Ушепти — статуетки-ответчики, заместители умершего в поустороннем мире.

Ромету — люди.

Озирис — египетский бог плодородия и земледелия; с ним связан мистический культ страстей Озириса-искупителя.

Т у т у — фантастическое существо др. египтян.

Г а т о р — богиня неба, с головой коровы.

С е б е к — бог водной стихии, с головой крокодила.

Р а б н с у — египетский наместник. (Ряд слов указан Н. Д. Флиттнер).

12. „Я опять шел по желтым дорожкам...“ написано, повидимому, во время войны в 1915/16 г. Печатается впервые по рукописи.

13. С о н — написан, повидимому, в 1915/16 г. Помещен в стеклографированном вып. № 10 „Неизданного Хлебникова“.

А г а н к а р а — теория реальности своего я (личности).

14. С к у ф ь я С к и ф а — датирована 6/VII 1916 г. Большая часть опубликована в 11 вып. „Неизданного Хлебникова“. В предисловии А. Крученых пишет: „Рукопись „Скуфья Скифа“ имела очевидно 13 страниц формата писчего листа, но в нашем распоряжении оказалось только 5 страниц: 1—4 и 13-ая“. В черновиках, переданных П. В. Митуричем, редакцией разысканы страницы 7—10, которые включены в этот текст, не хватает 6 и 12-ой. Принадлежность отрывка „Целый день я лежал“ к „Скуфье Скифа“ лишь предположительна: повидимому это обрывок 5 страниц.

Вероятно „Ка 2“, упоминавшееся Хлебниковым, лишь другое название „Скуфьи Скифа“.

П о д а г а — вымышленная богиня славянской мифологии, повидимому означавшая богиню леса, деревьев; существо близкое природе, или богиня пробуждения. (Указано Е. Г. Кагаровым).

15. Е с и р — помещен в „Русском Современнике“ № 4 за 1924 г. Написан „Есир“ в 1916—18 гг. Напечатан со следующим примечанием: „Рукопись — беловая, с немногими поправками, писанная одновременно, частью по новой, частью по старой орфографии. Текст приготовил к печати Г. Винокур“.

Б у д а р к а — лодка.

К о к о т — крюк.

О с т р о в К у л а л а — длинный и бесплодный остров сев. вост. части Каспийского моря.

К у т у м — рукав Волги у гор. Астрахани.

А у р е н г а и п п — великий могол 1658—1707 гг. Приверженец Ислама и воинственный правитель.

Нанак — основатель индуэской секты сикхов (род. 1469 г.); он, как и Кабир, отвергал индуэскую и мусульманскую религии, проповедуя монотеизм и религию нравственного совершенства. **Кабир** — знаменитый индуэский религиозный реформатор начала XV в. Он создал монотеистическую религиозную систему. **Кудашку-Билик** — сборник изречений и поучений эпохи Чингиз-хана.

Тег Бахадур — один из духовных главарей у индуэских сектантов — сикхов. **Сикхи** — секта, основанная в начале XVI в. Нанакон, пытающаяся примирить индуизм с исламом. **Раскол Шветамбара** (шветамбара — ходящий в белом, санскр.) — одна из двух главных сект, на которые подразделяются индийские сектанты-джайны — секта, возникшая одновременно с буддизмом.

Чингиз-богдо-хан (род. 1155 г.) — знаменитый император Монголии, завоевавший часть Китая, Манчжурию и объединивший под своей властью мусульманскую Среднюю Азию.

16. **Октябрь на Неве** — написан в 1917/18 г. В „Воспоминаниях“ Дм. Петровского (отд. изд. „Повесть о Хлебникове“) помещен под этим заглавием рассказ, начинающийся со слов: „Под грозные раскаты в Царском Селе прошел день рождения.“ В бумагах Хлебникова найден отрывок, также озаглавленный „Октябрь на Неве“ (заглавие написано повидимому на рукой Хлебникова), примыкающий по смыслу к напечатанному Петровским и, возможно являющийся началом рассказа.

17. „Никто не будет отрицать того...“ — относится повидимому к 1918 г. Речь идет о романе Флобера „Искушение св. Антония“. Печатается впервые по рукописи.

18. „Нужно ли начинать рассказ с детства?“... этот фрагмент написан повидимому в начале 1919 г. Сохранился в бумагах Р. Якобсона. Опубликован А. Крученых в 1 — 2 вып. „Неизд. Хлебникова“. А. Крученых считает этот отрывок началом автобиографии В. Хлебникова.

19. **Малиновая шашка** — печатается впервые по рукописи. Написана вероятно около 1921 г. Рукопись черновая, повидимому не отделана и не закончена. Отрывок, начинающийся со слов „Кто П.?“ , написан на обороте последней страницы рукописи.

20. Перед войной — датировано 20/1 1922 г.; печатается по рукописи. Вариант напечатан был в 1922 г. в журнале „Корабль“ №№ — 1 — 2 (6 — 7).

21. Разин — печатается впервые по рукописи; датировать следует скорее всего январем 1922 г.

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

22. Снежини — датировано 1906 г. Напечатано в „Весеннем контрагентстве муз“ (М. 1915 г.).

Рынды — телохранители.

23. „Образ месяц: Ах, мне пора выйти...“ — печатается впервые по рукописи, найдено в черновиках 1909 — 11 гг.

24. Хочу я — напечатано в „Первом журнале русских футуристов“, написано повидимому значительно раньше.

25. Девий бог — напечатан в „Пощечине“ (М. 1912 г.); написан вероятно раньше. В „Своеси“ Хлебников пишет: „Девий бог“, как не имеющий ни одной поправки, возникший случайно и внезапно как волна, выстрел творчества, может служить для изучения безумной мысли“. „В „Девьем боге“ я хотел взять славянское чистое начало в его золотой липовости и нитями, протянутыми от Волги в Грецию. Пользовался славянскими, полабскими словами (Леуна)“.

26. Аспарух — датирован 1908 г., напечатан в сб. „Ряв“, (П. 1914 г.).

Аспарух (Исперих) — предводитель болгар; в конце VII в. он перешел Дунай и создал Болгарское царство, воевал с греками, царствовал с 640-го по 700 год.

27. Чортик — напечатан в „Творениях“ 1906—08 гг. (П. 1914 г.), где датирован 1906 г., однако вероятнее всего, что здесь или опечатка или же в датировке редактором „Творений“ Д. Бурлюком допущена ошибка, так как все подробности связаны с Петербургом, в котором Хлебников поселился лишь в 1908 г., а подзаголовок: „Петербургская шутка на рождение Аполлона“, „диалоги“ с полной несомненностью указывает на 1909 г., так как именно с этого года начал выходить журнал „Аполлон“, с организаторами которого Хлебников был близко знаком (см. примечание ко 2-му тому). Следует полагать, что „Чортик“ написан в 1909 г.

8. Маркиза Дэзес — напечатана в сб. „Садок судей“ (П. 1909 г.); написана вероятно тогда же. Р. Якобсон передает, что „Маркиза Дэзес“ написана в результате изучения Грибоедова, бывшего одним из любимых писателей Хлебникова. В „Своеси“ Хлебников записал: „Город задет в „Маркизе Дэзес“ и „Чортике“.

29. Мирско́нца — напечатан в сб. „Ряв“ (П. 1913 г.) В „Ряве“ издателем А. Крученых напечатан без пунктуации. (Р. Якобсон вспоминает, что Хлебников произносил „Мирско́нца“).

30. Госпожа Ленин — напечатана в сб. „Дохлая луна“ (М. 1913 г.). В „Своеси“ Хлебников пишет: „В „Г-же Ленини“ хотел найти бесконечно-малые художественного слова“.

31. Ошибка смерти — напечатана в сб. „Ошибка смерти“ (М. 1917 г.), датирована 23/X 1915 г.

32. Боги — печатается впервые по рукописи; датировано 19/XI 1921 г. Эпиграф датирован 9/V 1919 г.

Ункулукулу — верховный бог Амазулу (зулусов).

Тиен — небо, Шангги — верховное божество китайской мифологии.

Ма-эму — повидимому полинезийское божество (?).

Индра — индийский бог ветров, главный среди второстепенных богов.

Тор — скандинавский бог грома.

Астарта — богиня финикийцев.

Ияанаги — японский бог воздуха.

Кали — разрушающее божество индийской мифологии.

Цинтекуатль — богиня древних мексиканцев и майя (?).

33. Пружина чахотки — датировано 21/I 1922 г., печатается впервые по рукописи.

КОЛ ИЗ БУДУЩЕГО

34. Мы и дома — печатается впервые по рукописи, относящейся к 1914/15 г. Рукопись подписана псевдонимом „Лунев“.

35. Лебедия будущего — опубликовано А. Крученых в 10 вып. „Незд. Хлебникова“, относящим рукопись к 1915/16 г. Также как и предыдущая вещь является ранней утопией Хлебникова, уже редакцией включенной в „Кол из будущего“, так

как это название явилось у самого Хлебникова лишь в 1921 г. Лебедией — в древности назывался весь степной край между Доном и Волгой.

36. Радио будущего — напечатано в журнале „Красная Новь“ № 8 за 1927 г., Написано Хлебниковым в 1921 г. во время службы его в Росте в Пятигорске. Помещаемый здесь текст, опубликованный Д. Козловым в „Красной Нови“, повидимому более законченная редакция варианта, имеющегося в нашем распоряжении под заглавием „Роста будущего“. Вот начало рукописного варианта, не совпадающее с напечатанным: „Слово Роста возникло через слияние в одно слово начальных звуков следующих трех слов: „Российское Телеграфное Агентство“. У человечества те же 365 дней, как и у пещерного человека. Ему тесно в его 365 днях; не умея растянуть год, отказывается от долго звучащих слов. В этом отношении русский язык сделал смелый скачок, перейдя к кратким искусственным словам, как, например, Роста.

Росту в будущем можно сравнить с сознанием человека, с его мозгом. Это — единая волевая точка народа, рассылающая ему, по бесчисленным путям и руслам, свою волю, дающая ему толчки и удары. Сейчас время суровой борьбы, и Роста призвана участвовать в ней. Но будущее ее иное. Рост Роста открывает ей видение на бесконечные задачи“. В дальнейшем текст лишь незначительно разнится от напечатанного.

37. Утес из будущего — печатается впервые по рукописи, написано вероятно в 1921/22 г.

38—39. „Закон множеств царил...“, „Ну что же это?..“ — фрагменты из утопических набросков; печатаются впервые по рукописи 1921 г.

40. „На чем ты сидишь?..“ — фрагмент из утопических набросков 1921/22 г. Печатается впервые по рукописи.

41 — 42. „А, русалка!..“, „Неговольцы нечтава...“ — печатаются впервые по рукописи 1921/22 гг.

43. „Про некоторые области...“ — печатается впервые по рукописи 1921/22 г. По стилистической обработке этот фрагмент ближе стоит к утопиям Хлебникова, чем к его многочисленным статьям о времени и вместе с тем естественно завершает цикл утопий.

МАТЕРИАЛЫ И ОТРЫВКИ

44. Любхо — напечатано в сб. „Дохлая луна“ (М. 1913 г.), принадлежит вероятно к экспериментальным заготовкам (словотворчеству раннего периода 1907 — 09 г.).

45. [Записки из прошлого] — извлечено из черновиков Хлебникова 1915 г. Повидимому это — фрагменты автобиографических записок; возможно, что именно к ним относится позднейшее заглавие, записанное Хлебниковым 1920/21 г.: „Записки из прошлого“. Может быть эти разрозненные отрывки предполагалось объединить под заглавием „Три Веры“? Рукопись написана чрезвычайно неразборчиво; множество слов недописано, и повидимому целого ряда листов не хватает. По фактам совпадает с дневником Хлебникова за 1915 г., опубликованным в 11-м и 12-м выпусках „Неизд. Хлебникова“.

46—47. 13 танка и Отрывки — также как и „Записки извлечены из черновиков 1915/21 г.

Отрывок „И вот он приехал“ один из набросков к рассказу „Малиновая шашка“.

СОДЕРЖАНИЕ

Проза

1. Песнь миряя.	9
2. Испытание грешника.	19
3. Училица.	22
4. Зверинец.	27
5. Ховун.	31
6. Простая повесть.	34
7. Юиоша Я-мир.	35
8. Выход из кургана умершего сына.	36
9. Охотник Уса-гали.	37
10. Николай.	40
11. Ка.	47
12. „Я опять шел по желтым дорожкам...“	70
13. Сон.	74
14. Скуфья скифа.	76
15. Есир.	87
16. Октябрь на Неве.	105
17. „Никто не будет отрицать того...“	114
18. „Нужно ли начинать рассказ с детства...“	118
19. Малиновая шашка.	122
20. Перед войной.	140
21. Разин.	146

Драматические произведения

22. Снежини.	153
23. „Образ месяц: Ах, мне пора выйти...“	160
24. Хочу я.	162
25. Девий бог.	164
26. Аспарух.	195
27. Чортик.	200
28. Маркиза Дзес.	225
29. Мирсконца.	239

30. Госпожа Ленин.	246
31. Ошибка смерти.	251
32. Боги.	259
33. Пружина чахотки.	268

Кол из будущего

34. Мы и дома.	275
35. Лебедя будущего.	287
36. Радио будущего.	290
37. Утес из будущего.	296
38. „Закон множеств царил...“	300
39. „Ну что же это...“	303
40. „На чем ты сидишь...?“	305
41. „А русалка“	306
42. „Неговольцы нечтава...“	308
43. „Про некоторые области...“	312

Материалы и отрывки

44. Любко.	317
45. [Записки из прошлого].	319
46. 13 танка	324
47. Отрывки.	326

Примечания

От редакцин.	331
Примечания.	333

